

Викентий Вересаев

Сестры



Annotation

«...Пусть и в тебе закаляется сердце, когда будешь перечитывать - такие некомсомольские - мысли нашего дневника. За последнее время мы здорово с тобою разошлись. Я с большой тревогой слежу за тобой. Но все-таки надеюсь, что обе мы с тобою сумеем сохранить наши коммунистические убеждения до конца жизни, несмотря ни на что. Но одна моя к тебе просьба напоследок: Нинка! Остриги косы! Дело не в косах. А - отбрось к черту буржуазный пережиток...»

- [Викентий Вересаев](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Часть третья](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
-

Викентий Вересаев
Сестры

Часть первая

На узкой дороге

Толстая тетрадь^[1] в черной клеенчатой обложке с красным обрезом. На самой первой странице, той, которая плохо отстает от обложки и которую обыкновенно оставляют пустою, написано:

В тихом сердце - едкий пепел,
В темной чаше - тихий сон
Кто из темной чаши не пил,
Если в сердце - едкий пепел,
Если в чаше - тихий сон?

В Ходасевич. «Счастливый домик»^[2]

Это теперь превзойдено и погребено.
Нинка-друг! Тебе передаю наш дневник, - последнее личное, что осталось у меня, - да, последнее. Больше не повторится то, что здесь записано.

Жизнь не раз разразится громом
И не раз еще бурей вспенится,
Но от слов дорогих и знакомых
Закаляется сердце ленинца.

Посмертное - Николая Кузнецова^[3]

Пусть и в тебе закаляется сердце, когда будешь перечитывать - такие некомсомольские - мысли нашего дневника. За последнее время мы здорово с тобою разошлись. Я с большой тревогой слежу за тобой. Но все-таки надеюсь, что обе мы с тобою сумеем сохранить наши коммунистические убеждения до конца жизни, несмотря ни на что. Но одна моя к тебе просьба напоследок: Нинка! Остриги косы! Дело не в косах. А - отбрось к черту буржуазный пережиток.

Кончила заниматься ерундовыми дневниками комсомолка Лелька Ратникова, бывшая вузовка. Навсегда ухожу в производство.
Москва. 14 августа 1928 г.

Если перевернуть эту страницу, то вторая, - первая по-настоящему, - имеет такой вид. Наверху крупными печатными буквами выведено.

НАШ ОБЩИЙ ДНЕВНИК.

Потом нарисовано два овала и под ними подпись:

Здесь будут наши фотографические карточки.

Затем двестише:

Будет буря! Мы поспорим
И поборемся мы с ней!

Москва. 3 мая 1925 года.

А со следующей страницы идут дневниковые записи двумя различными почерками. Один почерк - Лельки: буквы продолговатые, сильно наклоненные, с некрепким нажимом пера. Одна и та же буква пишется разное: «т», например, - то тремя черточками, то в виде длинной семерки, то просто в виде длинной линии с поперечной чертой вверху. Другой почерк - Нинки: буквы большие, с широкими телами, стоят прямо, как будто подбоченившись, иногда даже наклоняются влево.

Даты редки.

* * *

(*Почерк Лельки.*) – Вот как странно: сестры. Полгода назад почти даже не знали друг друга. А теперь начинаем писать вместе дневник. Только вот вопрос: писать дневник, хотя бы даже отчасти и коллективный (ведь нас двое), – не значит ли это все-таки вдаваться в индивидуализм? Ну, да ладно! Увидим все яснее на деле.

Как заглядывается на меня Володька Черновалов. Смешно. А я к нему отношусь только по-братски. Причины следующие: могу любить тогда, когда на меня внимания не обращают, а затем... Забыла, что – второе. Вспомнила. Я не считаю за любовь тихое чувство, хорошее, ласковое отношение. Любовь – буря, непонятный океан горя и волнений. Этого тут нет, и он слишком показывает, как меня сильно любит. Притом он интеллигент, в нем мало комсомольского. Нет, милый, – смывайся! Полюбить, так полюблю парня-рабочего, пролетария, который за рабочий класс жизнь готов отдать. А ты на девчонку смахиваешь, размазня.

* * *

(*Почерк Нинки.*) – Май, самый светлый месяц в году. Под моим руководством находится шестьдесят пролетарских детей – юных пионеров. Моя задача – дать им коммунистическое направление, выработать из них бойцов за лучшее будущее, приучить к дисциплине и организации. Когда я говорю им о классовой борьбе, бужу в них ненависть к буржуазии и капиталистическому строю, глаза на их худых мордочках загораются революционным огнем, и мне ясно представляется, как растет из них железная когорта выдержанных строителей новой жизни. Очень весело жить на свете.

На днях все они выезжают за город, будут жить в палатках, на свежем воздухе, но вблизи деревни и организовывать таких же детей крестьян в отряд юных пионеров. Сейчас много занимаюсь, через две недели кончу зачеты и поеду к пионерам в лагерь. Уж теперь радуюсь, как подумаю: жизнь и спанье на чистом воздухе, сигналы пионерской трубы и барабанная дробь, веселые и в то же время глубокие беседы с ребятами. Вся жизнь у меня в работе. Часто думаю: как бы я могла жить и находить удовлетворение в жизни, если бы не была в комсомоле? Совершенно не представляю себя в роли «беспартийной». Чем хорош комсомол? У комсомольца каждый миг рассчитан, на все надо смотреть с выдержанным, марксистским взглядом, все у него рационально и материалистично, следовательно, абсолютно истинно. И перед ним – широкая, прямая, освещенная ярким солнцем дорога, проложенная нашими вождями – Карлом Марксом, Фридрихом Энгельсом и Ильичом.

* * *

(*Почерк Нинки.*) – Вчера были с Лелькой у мамы. Как всегда, она очень нам обрадовалась, стала варить кофе, готовить яичницу. Делать она ничего не умеет: кофе у нее всегда убегают, яичница выходит, как гуттаперча. А через два часа, тоже как всегда, мы разругались и ушли. Конечно, о большевиках и советской власти.

А ведь была она большевичкой до самого Октября. Ее муж, наш отец, – знаменитый революционер Александр Ратников, повешенный Столыпиным^[4]. Маме хотели дать за его деятельность и смерть персональную пенсию в двести рублей, но она отказалась и живет на девяносто – сто рублей жалованья. Сначала работала в кооперации, а когда кооперацию стали обольшевчивать, то ушла в этнографический музей. Она – сухая, нервная, глаза постоянно вытаращены, говорит без умолку и все ругает советскую власть: за аморализм, за «неразборчивость в средствах», за дискредитирование идеи социализма и превращение его в «шигалевщину» (это в романе Достоевского «Бесы», говорят, есть такой дурак Шигалев, нужно бы, собственно, прочесть). С самого великого Октября, – мне тогда было девять лет, а Лельке одиннадцать, – с самых тех пор она нам ругала и избличала коммунизм. Мы поэтому горячо его полюбили, и возненавидели мертвый интеллигентский морализм.

И поступили в комсомол. Я удрала из дому пятнадцати лет, как только кончила семилетку. Жизнь вихрем закрутила меня. Целый приключенческий роман можно бы написать из того, что я переиспытала с пятнадцати лет до последнего года, когда поступила в МВТУ. Кем я ни была: библиотекарем, бандитом, комиссаром здравоохранения, статистиком. И где я ни побывала: на Амуре, на Мурмане, в Голодной степи. Больше всего полюбила зной зауральских пустынь, хотя больше всего вынесла там

страданий.

Лелька оказалась терпеливее: выдержала с мамой до запрошлого года, когда кончила девятилетку. Но когда поступила в МГУ, – тоже ушла. И иначе мы не можем, хоть и жалко маму. Она часто потихоньку плачет. А сойдемся – и начинаем друг в друга палить электрическими искрами.

Так и сегодня.

Мирно сидели за столом, ели жареную гуттаперчу, потом стали пить кофе. Лелька рассказывала, как они у себя, на факультете, вычистили целую компанию помещичьих и поповских сынков и дочек. Мама загорелась, вытаращила глаза, спросила:

– Что же, это хорошо?

Мы ответили:

– Конечно, хорошо. Какой смысл для советской власти за счет рабочих и крестьян давать оружие образования в руки классовых своих врагов?

И началось! «Да если бы в нашу советскую нынешнюю школу пришли Герцен и Кропоткин, Добролюбов и Чернышевский, то их выбросили бы, как дворянских и поповских сынков!» И много, много говорила.

Милые детишки от пятидесяти лет и выше! Нам с вами никогда ни о чем не столкнуться. Мы настолько старше вас, настолько опытнее и мудрее, что речи ваши нам кажутся наивным лепетом. Нам приходится сюсюкать, чтоб разговаривать с вами, а это очень скучно.

Я маму люблю и даже уважаю, но только – на расстоянии не ближе как за километр.

* * *

(Почерк Лельки.) – Сегодня я ходила в бюро и просила нагрузки. Предложили работать библиотекарем при ячейковой библиотеке. Но я, конечно, отказалась. (Дураков теперь нет.)

Хочу работать при какой-нибудь производственной ячейке, среди рабочих ребят. Записали руководителем комсомольской политшколы. Ура!

Что-то ждет меня впереди? Сорвусь или справлюсь?

Дорогой мой товарищ, вы должны справиться, и не средне, а очень хорошо, должны уметь быть агитатором и пропагандистом, должны суметь подойти к рабочим ребятам, взять от них все лучшее и дать им все лучшее свое. А еще нужно забыть себя, забыть слово «я», раствориться в массе и думать «мы».

* * *

Я и два наши парня ездили в райком. Они оба давно на политпросветработе, и в этом году им не хотелось быть руководителями. Шли и ворчали.

Я молчала, от волнения горели щеки. Что если в райкоме сделают предварительную политпроверку, и я не подойду? До черта будет тяжело и стыдно. Наверное, там будет заседать целая комиссия. Оказалось все очень просто: в пустой комнате сидел парень. Он нас только спросил, работали ли мы в этой области, и записал, какой ступенью хотим руководить. Буду работать на текстильной фабрике, там все больше девчата. С ребятами интереснее, а с девчатами легче.

* * *

Lieber Genosse!^[5] Вы справляетесь со своей работой, и я жму вашу лапку.

* * *

(Почерк Нинки.) – Завтра уезжаю в лагерь к своим пионерам.

Вчерашний вечер наполнил мою душу чем-то новым, таким ярким, как солнце сейчас. У нас в клубе вчера читали пролетарские писатели, – я видела и слышала этих пионеров нашей, пролетарской литературы. Потом наши ребята выступали с критикой. Очень удивил меня Шерстобитов. Он активист, говорит складно. Один из поэтов прочел два стихотворения, очень хороших, где рассказывал о лунной ночи и о своей любви к дивчине. Шерстобитов стал его крыть и заявил, что современная пролетарская молодежь не думает о поцелуях и лунных ночах, а думает о социализме, что пролетариату чужда

«любовь двух сердец», потому что мысли его заняты мировой революцией. Это как же, значит? Пролетариат перестанет размножаться? Или будет простая случка, без всякой любви, как у быков и коров? Притом я хорошо знаю: сам Шерстобитов здорово крутит с девочками. И вдруг он навсегда стал мне противен. Вместо лица вижу у него маску. Очень хотелось бы сбить ее.

* * *

(Почерк Лельки.) – Нинка уехала к своим пионерам вот уже две недели. Как-то без нее скучно. Уж привыкла, чтоб она приходила ко мне из общежития. Сидим, болтаем, знакомимся: мы, в сущности, очень мало знаем друг друга, ведь не видались несколько лет. Но я ее очень люблю, и она меня. Она садится за этот дневник и пишет. Иногда ночует у меня.

Мы вместе с Володькой Черноваловым занимаемся в кружке по диамату. Читаем, беседуем. Сегодня вышли на улицу, он вдруг говорит таким странным голосом:

– Лелька, я тебя люблю. Об этом надо мне много с тобою поговорить.

Я сухо ответила:

– Много говорить нечего: мое отношение к тебе товарищеское.

Он опустил голову и пошел прочь. Все-таки приятно думать, что есть парнишка, который всегда рад меня увидеть, пожать мою лапу.

* * *

Почему на фабрике ребята так любят бузить? Как они не устают шуметь и дурачиться?

Вечер провела в клубе текстильщиков. Один парень поцеловал меня при ребятах, я среагировала, как на щекотку, ребята смеялись. Так и надо было сделать: глупо было бы показывать обиду, от этого они бы только еще больше смеялись.

* * *

Дневник! Я расскажу тебе на ухо то, что меня мучает: я б-о-ю-с-ь своей аудитории. Перед тем как идти к ребятам, что-то жалобно сосет в груди. Я неплохо готовлюсь к занятиям, днями и вечерами просиживаю в читальне Московского комитета, так что это не боязнь сорваться, не ответить на вопросы, а другое. Но что? Просто как-то неудобно: вот я, интеллигентка, поварилась в комсомоле, начиталась книг и иду учить рабочих ребят. Пробуждать в них классовое сознание. Правильно ли это?

Я стараюсь раствориться в их массе, быть такой, как они, даже отчасти их лексикон переняла, но все это не то. Я все еще одиночка, обособленная и далекая им.

А в общем все эти рассуждения и самовопросы – чистейшая интеллигентщина, от которой начинает тошнить.

* * *

Все-таки я Володьку совсем не отшила. И сказать уже всю правду? Мне с ним все-таки как-то приятно бывать. Выработалась привычка, вернее – потребность, с ним видеться. Общая работа, интересные споры – и первая ласка. Я уклонялась, не хотела (считала, нет у меня любви «по-настоящему»), и все-таки поцелуй – в губы. И после собрания за руку шли домой.

* * *

Сентябрь 1925 г. – Видимся с Володькой очень часто, вместе читаем. Он еще какой-то зеленый, на меня смотрит почтительно. Вообще он слишком мне подчиняется, я этого не люблю.

* * *

Вчера шла по Остоженке, встретила Володьку. Так как ему не хватает стипендии, то он, чтоб подправить экономику, время от времени подрабатывает. Теперь он работает на стройке. Шел в брезентовой Спецовке, весь вымазанный известкой, в пыли. Когда увидел меня, просиял. Как-то эта встреча меня заставила многое передумать. Полно, уж такой ли он интеллигент? Хорошо он выглядел в спецодежде.

Мы взяли за руки, было солнце и желтеющие листья ясеней над церковной оградой. Он позвал меня к себе домой. Умылся, вытирал мозолистые руки полотенцем. Смотрела на свои руки и думала: не так уж они много работали физическим трудом, так что особенно мне чваниться нечем.

Пили чай. На окне стоял в горшке большой куст белых хризантем. Я невольно все время поглядывала на цветы, и не было почему-то покоя от вопроса: почему цветы? Сам он их себе купил или... принес ему кто-нибудь? Купит ли себе парень сам цветы? Или станет ли парень парню приносить цветы?

Я не выдержала. Ужасно глупо. Он что-то рассказывал, а я вдруг с обидой, с задрожавшими губами, прервала его:

- Откуда у тебя эти цветы?

Он замолчал, поднял брови, пристально поглядел на меня, - вдруг расхохотался, крепко схватил меня и стал целовать. Дурак!

* * *

Нинка воротилась в Москву. Виделись с нею. Много рассказывала о своей работе с пионерами.

* * *

(Почерк Нинки.) - Октябрь, морозистый и звонкий... А в душе совсем не звонко. Все, что есть во мне так наз. пролетарского, все это - начало, чуждое мне. В этом я убедилась. Потому-то мне и скверно так сегодня, потому-то так нелепы были сегодняшние мои поступки. Все мысли мои о том, что я стала «настоящей» комсомолкой, - буза. Та же внешность - кожаная куртка и красная косынка, не хватает стриженных косм и папироски в зубах. Но этого не будет, хотя могло быть легко. Но не сейчас. Ша! Довольно поделок, - сказала я себе.

* * *

(Почерк Лельки.) - Ничего не понимаю. Что все это значит?

* * *

(Почерк Нинки.) - Минутное настроение. Мне тогда было очень тяжело.

* * *

(Почерк Лельки.) - Пишу после почти двухмесячного перерыва. Много было, но не стоит записывать.

Вчера вечером произошел очень нервный и очень тяжелый разговор с Володькой.

Нет, Володька, брось! То, что между нами было, - это не любовь.

Это так у меня было - интерес к никогда еще не испытанному, тоска по настоящей любви.

То кровь кипит, то сил избыток.

Повторю еще раз: по-настоящему я полюблю только парня-рабочего, настоящего, пролетария по духу и по крови.

И он - плакал! Какой странный и неприятный вид, когда плачет мужчина! Он мне орошал руки своими слезами, целовал руки, как барышням целовали в дореволюционные времена, так что они стали совсем мокрые.

Я засмеялась.

- Чего ты?

- Никогда до сих пор не видала, как плачут взрослые мужчины. Смешно.

И стала вытирать руки носовым платком.

Он вскочил. Быстро надел пальто. Стало стыдно. Я, как стояла к нему спиной, так подалась, откинула голову и с ласковым призывом подставила ему под губы лоб. Но он положил мне сзади руки на плечи и, задыхаясь, прошептал на ухо:

О, не бойтесь я не нищий!

Спрячьте ваше подаянье!

И выбежал.

Стыдно черт те как.

* * *

Нет, все-таки - не по мне он. Размазня, интеллигент. Вспомню, как он плакал, - становится презрительно-жалко.

И вообще мне со студентами-интеллигентами как-то тесно, душно. С пролетариями вольнее.

* * *

(Почерк Нинки.) - На трамвае неожиданно встретила с Басей Броннер. Не видела ее с тех пор, как кончили с нею семилетку. Жизнь у ней была очень тяжелая: пятнадцати лет ушла от родителей-торговцев, нуждалась, очень голодала, с трудом кончила семилетку. А теперь, оказывается, она работает простой работницей, галошницей, на резиновом заводе «Красный витязь»^[6], за Сокольниками. Мне она очень понравилась. Обязательно возобновлю с нею знакомство.

* * *

Была у Баси в селе Борогодском. Хоть это вовсе не село, а та же Москва, только дома поменьше и пореже. И в середине дымит огромный завод резиновый. Бася меня водила и все показывала. Решено: завязываю с нею очень близкое знакомство. Она мне сильно нравится. Ушла в самую гущу пролетариата и насквозь пропиталась его духом. Работницы другие ей говорят:

- Ну, ты - интеллигентка. Разве ты с нами долго станешь работать? Пришла, чтобы в вуз поступить или выдвинуться по партийной линии.

Но она им хочет показать на деле, что и интеллигенты умеют быть настоящим пролетариатом, а не для карьеры идут на фабрики и заводы.

* * *

(Почерк Лельки.) - Володьку не видела больше месяца, даже не знаю, где он. Говорят, уехал куда-то. Как-то не хватает мне чего-то без него. Ну, к черту! Буза!

Я прочла сегодня в одной книжке: «Большевизм по заслугам славится своею стройною законченностью и монолитностью в области мировоззрения». И стало мне очень грустно. Я замечаю за собою, что частенько я смотрю на вещи не ленинскими глазами и думаю не большевистскими мыслями. Наступает новый год. Я бы хотела, чтоб в этом новом году у меня больше не было сумасбродных мыслей о жизни, о смерти и прочих идеализации чего бы то ни было, чтобы не было стремления и к индивидуализму. Я бы хотела смотреть на все явления жизни так, каковы они есть, и подходить к ним с марксистски-материалистическим, рациональным подходом.

* * *

(Почерк Нинки.) - Ого, Лелька! Как еще нам много приходится друг с другом

знакомиться!

* * *

(Почерк Лельки.) – Вдруг в театре Революции встретилась с Володькой. Он, – как будто ничего не было, – быстро подошел ко мне, улыбается. Я не успела собою овладеть и радостно вспыхнула, сама не пойму отчего.

Ходили с ним по фойе. Верно! Он уезжал. В Ленинград. И только что воротился. Ездил туда с Иван Ивановичем Скворцовым-Степановым^[7], редактором «Известий», – их несколько ребят с ним поехало. Скворцова туда послал ЦК новым редактором «Ленинградской правды» и вообще возглавить борьбу с троцкизмом, который там очень силен.

Мы даже забыли про спектакль. Пропустили целое действие. Ходили по фойе с притушенным электричеством, и он рассказывал, как их враждебно встретили наборщики «Ленинградской правды», как являлись депутации от заводов и требовали напечатания оппозиционных резолюций. Положение часто бывало аховое. Путиловцы бузили самым непозволительным образом. Весело было глядеть на Ивана Ивановича. Смеется, потирает руки. Большой, жизнерадостный, с громово смеющимся голосом. «Нет, – говорит, – положительно, я по природе – авантюрист! Вот это дело по мне! Это борьба! А сидеть в Москве, строчить газетные статейки...» Рассказывал Володька, как они все со Скворцовым-Степановым двинулись на завод, как рассыпались по цехам, как под крики и свистки выступали перед рабочими и добились полного перелома настроения.

Повеяло от Володьки как будто запахом пороха. Свежим воздухом пахнуло, борьбою, движением. Скучно вдруг как-то и серо показалось здесь, у нас.

Но вы, товарищ, – почему вы так вспыхнули, когда его неожиданно увидели? Нужно будет позвать его к себе, вообще дать понять, что мне приятно его видеть.

* * *

(Почерк Нинки.) – Это мы пишем вместе, потому что сегодня мы очень полюбили друг друга и сблизились. И расширили стену, которая была между нами. Вот как это случилось.

Вечером ездили на Брянский вокзал^[8] провожать наших ребят, командированных на работу в деревне. Ждали отхода поезда с час. Дурака валяли, лимонадом обливались, вообще было очень весело. Назад вместе шли пешком вдвоем. Перешли Дорогомиловский мост^[9], налево гранитная лестница с чугунными перилами – вверх, на Варгунихину горку, к раскольничьей церкви.

Мы взбежали по лестнице. Нинка из нас остановилась на верхней ступеньке, а Лелька двумя ступеньками ниже. Смотрели сверху на замерзшую реку в темноте, на мост, как красноглазые трамваи бежали под голубым электрическим светом. И очень обеим было весело. Вдруг у Нинки сделались наглые глаза (Лелька требует поправить: «озорные», – ну ладно) – сделались озорные глаза, и она говорит:

– Тебе нравится все время стоять на одной ступеньке?

Лелька замолчала и долго пристально смотрела на Нинку, а Нинка задком галоши била по стенке ступени, смотрела Лельке в глаза и потом прибавила:

– Или даже – твердо подниматься вверх со ступеньки на ступеньку?

Лелька ответила очень медленно:

– Это было бы очень хорошо, так бы и нужно. Но меня неудержимо тянет бегать по всем ступенькам, по всей лестнице, и вверх и вниз.

Нинка сказала:

– И меня тоже.

И мы обе рассмеялись, – почему мы это скрывали одна от другой?

Никто в мире этого не узнает, но мы друг про друга будем теперь знать, что и другая в «душе», или как там это назвать, – в сознании, что ли? – носит то же

СИМВОЛ ЛЕСТНИЦЫ

* * *

(Почерк Нинки.) – Обо всем этом нужно говорить тихонько и интимно, потому что так

легко испугаться самой себя и замолчать! Но что же делать, если это есть в душе? Вот в чем дело. Терпеть не могу пай-девочек и пай-мальчиков, живущих, действующих и думающих «как нужно». Мне тогда бешено хочется шарлатанить, и все взрывать к черту, и вызывать всеобщее негодование к себе. И я думаю: где это, у кого есть уже такая совсем полная истина? Позвольте мне раньше побегать по всей лестнице вверх и вниз, постоять на каждой ступеньке, все узнать самой и продумать все самой же. А поэтому, чтобы жизнь тебя не надула, нужно, хоть на время, стать «великим шарлатаном», не верить ни во что и в то же время во все верить, научиться понимать всех людей, стать насмешливым наблюдателем на арене жизни – и непрерывно производить эксперименты. Но в то же время я знаю: если нет на земле правды, то все же есть много маленьких правд, и первая из них: в классовой борьбе победит пролетариат, и только диктатура пролетариата... Ну, известно.

* * *

(Почерк Лельки.) – Над этим нужно подумать. Мне это какую-то стороною тоже чертовски близко, только было запрятано очень глубоко в душе. Гм! Быть «великим шарлатаном». Это завлекательно. Но с этим вместе мы безумно любим наш комсомол. В этом трагедия. Как жить без него и вне его? Ну что ж. Будем великими шарлатанами и экспериментаторами.

* * *

(Почерк Нинки.) – Только помнить: когда шарлатанишь, нужно все делать добросовестно и очень серьезно.

* * *

(Почерк Нинки.) – 9 февр. 1926 г. Только что вернулись из подшефной деревни. Комсомольская ячейка совместно с беспартийной молодежью организовала туда лыжную вылазку. С нами ездили и рабочие ребята с фабрики, где мы ведем общественную работу.

Что за день был! Мне кажется, никогда в жизни мне так хорошо не было. Снег, солнце, запущенные инеем ели. Ребята такие близкие и родные. И веселье, веселье. Толкали друг друга в снег, топили в сугробах. Вылезая, фыркали и отряхивались, как собачата, брошенные в воду.

Почему мне было так хорошо? Не потому ли, что в этот день я вся переродилась, стала другой, близкой ребятам, своей...

Завязали связь с деревней, на той неделе деревенская молодежь приезжает к нам во втуз, на экскурсию. Обязались им помочь в организации пионеротряда. Но – главное: снег, солнце, задорные песни – и радость без предела.

Это вообще. А в частности: обратно шли к станции медленно, уставшие. Я так устала идти на лыжах, что предпочла их взять на плечо, а сама идти по дороге. Легкий скрип за моею спиною, торможение. Мы рядом. Лазарь. Я давно к нему приглядываюсь, – кто он и что он?

Постараюсь записать все то, что он мне рассказал. Вчера умерла его мать; вот уже два года, как он ее не видел, не видел с тех пор, как ушел из дому, поступил на фабрику, стал жить в рабочем общежитии. Визгливо кричала мать, грозился отец, и их крики еще раздавались на лестнице, когда он со своей корзинкой выходил из парадного. Отец – крупный торговец, еврей, культурный, начитанный, мать – местечковая, со всеми традициями, мелочная, с торгашеской психологией. И он, Лазарь, их сын, случайный и не к месту. Восточные глаза смотрят в стекла очков, честные, правдивые, и боль, боль в них.

Вчера вечером умерла мать, а утром вчера она дрожащей рукой написала записку: «Приди проститься». Не пошел Лазарь прощаться с умирающей торговкой, по странной случайности получившей право называться его матерью. Прав ли он был?

Что мне было ответить ему? Н-е з-н-а-ю. Это думала я. А говорила, что только так и мог поступить комсомолец.

* * *

Нинка поехала в гости к Басе Броннер в село Богородское, за Сокольниками. Бася, подруга ее по школе, работала галошницей на резиновом заводе «Красный витязь».

Бася после работы поспала и сейчас одевалась. Не по-всегдашнему одевалась, а очень старательно, внимательно гляделась в зеркало. Черные кудри красиво выбивались из-под алой косынки, повязанной на голове, как фригийский колпак. И глаза блестели по-особенному, с ожиданием и радостным волнением. Нинка любовалась ее стройной фигурой и прекрасным, матово-бледным лицом.

Бася сказала:

- Идем, Нинка, к нам в клуб. Марк Чугунов делает доклад о международном положении. - И прибавила на ухо: - Мой парень; увидишь его. И заранее предупреждаю: влюбишься по уши - или я ничего в тебе не понимаю.

Нинка с удивлением поглядела в смеющиеся глаза Баси, - слишком был для Баси необычен такой тон.

В зрительный зал клуба они пришли, когда доклад уж начался. Военный с тремя ромбами на воротнике громким, привычно четким голосом говорил о Чемберлене, о стачке английских углекопов. Говорил хорошо, с подъемом. А когда речь касалась империалистов, брови сдвигались, в лице мелькало что-то сильное и грозное, и тогда глаза Нинки невольно обращались на красную розетку революционного ордена на его груди.

Когда пошла художественная часть, Бася увела Чугунова и Нинку в буфет пить чай. Подсел еще секретарь комсомольской цеховой ячейки. Чугунов много говорил, рассказывал смешное, все смеялись, и тут он был совсем другой, чем на трибуне. В быстрых глазах мелькало что-то детское, и смеялся он тоже детским, заливи́стым смехом.

Подошли два студента Тимирязевской сельскохозяйственной академии, Васи́ны знакомые: не застали ее дома и отыскали в клубе. Перешли в комнату молодежи; публика повалила на художественную часть, и комната была пуста.

Играли, дурачились. Устроили вечер автобиографий. Каждый должен был рассказать какой-нибудь замечательный случай из своей жизни. Почти у всех была за спиной жизнь интересная и страшная, каждому было, что рассказать.

Первый жребий достался секретарю ячейки. Он рассказал про свой подвиг на гражданской войне, как ночью украл у белых пулемет, заколов штыком часового. Рассказывал хвастливо, и не верилось, что все было так, и Нинка слушала его с враждою. Потом тимирязевец рассказал, бывший партизан, тоже про свой подвиг. Третий жребий вытянул Чугунов.

- Ну-с, что же бы вам рассказать?

Нинка сказала:

- Расскажите, как и за что вы получили орден Красного Знамени.

Ей хотелось послушать, как и он будет хвастать, чтобы и к нему испытать то же враждебно-насмешливое чувство, как к первым двум.

Чугунов внимательно поглядел на Нинку, усмехнулся, подумал и медленно ответил:

- Я вам лучше расскажу, как я был приговорен к расстрелу. За трусость и отсутствие организаторских способностей.

- Ого!

Все оживились. Это было поинтереснее подвигов. Чугунов прислонился спиной к простенку между окнами и стал рассказывать.

- Было это очень скоро после Октябрьской революции, в самом начале гражданской войны. Я тогда воротился из ссылки и работал слесарем на Путиловском заводе. И вот решил я поступить в Красную гвардию. Поступил. Наскоро нас обучили и послали на казанский фронт, против чехословаков. На длинном шнуре мотается у колен револьвер... А я хоть был материалист, но в то время питал чисто мистический страх перед всяким огнестрельным оружием: когда стрелял, зажмури́вал оба глаза. Явился к командарму. «Из Питера? Рабочий-подпольщик? Чудесно!» Назначил меня комендантом станции Обсерватория. А нужно вам сказать...

Он внимательно оглядел всех, усмехнулся.

- Тут ребята все свои, и дело прошлое, скрывать нечего. Бои тогда были удивительные: три Дня стрельба - и ни одного убитого с обеих сторон. Побеждал тот, кто раньше оглушит противника, испугает его шумом пальбы. Вот так белые тогда оглушили нас, и наши побежали. В момент очистили мою станцию, я один. Что мне делать? Сел на паровоз и привел его в расположение нашего командования. Являюсь к командующему армией Каменскому. Он: «Как вы смели бросить свой пост?» - «Да там никого уж не осталось, я хоть паровоз спас, привел сюда». - «А почему у вас там никого не осталось? У вас есть революционное слово, есть револьвер. Сейчас же отправляйтесь назад и

воротите беглецов». – «Да ведь дотуда семьдесят верст, как я попаду? Пути испорчены, поезда не ходят». – «Возьмите мою лошадь». А я никогда и верхом не ездил. Подвели мне лошадь, набрался я духу, сел, – она, подлая, повернула и прямо назад в конюшню; я ей – тпрууу! Все смеются. Кое-как слез, пошел на станцию свою пешком. Верст десять отошел. Навстречу во весь дух несется наша батарея – удирает. Ездовые нажаривают нагайками лошадей, чуть меня не затоптали. Поглядел я им вслед: ну-ка, останови их револьвером или революционным словом! Потом конница пронеслась галопом. Всё иду вперед. Под вечер набрел на привал пехоты. Костры, варят хлебово. Я подсел. Думаю: вот когда момент пришел применить революционное слово! Завел речь издалека: «Самое, – говорю, – опасное на войне – это бежать; во время бегства всегда происходит наибольший урон; в это время бывает всего легче обойти». Они подняли головы: «Нешто обошли?» Испуг. «Вот человек говорит: обошли». – «А кто ты такой?» Писаных мандатов в то время почти еще не существовало, был мне просто устный приказ. «Да ты не шпион ли?» Один дядя бородатый печет картошку, мрачно говорит из-за костра: «А вы бы, землячки, пулю ему в брюхо, – было бы вернее». Насилу отвертелся, ушел. Опять являюсь к Каменскому. «Что это? Вы опять здесь?» А мне вдруг так ясно представилась вся бестолочь, которую я видел за эти дни, вся очевидная невозможность что-нибудь сделать единичными усилиями, – мне стало смешно, не мог удержаться, улыбнулся. Он остолбенел, с изумлением смотрит на меня. А я стою и самым дурацким образом улыбаюсь. Командарм пришел в ярость, сорвал с меня револьвер и велел арестовать. Был суд. Приговорили к расстрелу.

Нинка спросила:

– А почему не расстреляли?

– Попросил для искупления вины отправить меня на фронт. Тогда как раз полковник Каппель прорвался нам в тыл, и посылались полк коммунаров ликвидировать прорыв. Там я получил боевое крещение.

Нинка внимательно глядела на него. Мило стало его простое, открытое лицо и особенно то, как он просто все рассказал, не хвалясь и сам над собою смеясь.

Следующая очередь была Нинки.

Она сидела на столе, положив ногу на ногу, и рассказывала. По плечам две толстых русских косы, круглое озорное лицо, чуть вздернутый нос. Брови очень черные то поднимались вверх, то низко набегали на глаза; от этого лицо то как будто яснило, то темнело.

Рассказала она, как три года назад была в Акмолинской области. Поехала она из Омска в экспедиции для обследования состояния и нужд гужевого транспорта. Рассказывала про приключения с киргизами, про озеро Балхаш, про Голодную степь и милых верблюдов, про то, как заболела брюшным тифом и две недели самой высокой температуры перенесла на верблюде, в походе. Оставить ее было негде, товарищам остаться было нельзя.

Воодушевилась, рассказывала очень хорошо. Все подбадривали, требовали дальше.

Рассказала она и такое:

– Наняли мы киргиза с верблюдами, подрядили на сорок верст. Но свернуть пришлось в сторону, других верблюдов нигде достать не могли, и пришлось нам его протаскать с собою верст триста. По ночам мы его поочередно караулили, чтоб не сбежал. Раз ночью все-таки убежал, со всеми своими верблюдами. На заре мы бросились за ним в погоню. Ведь что нас ждало: в глухой степи, пешие. В балке нашли отбившегося верблюда. Один из наших парней, Степка, очень сильный, сел на него. Пучок соломы верблюду под хвост, зажгли, – он ринулся как ошпаренная собака. Нагнали ребята киргиза, зверски его избили. На ночь связали. И вообще стали возить связанным.

Еще рассказала, как они голодали, как делали набеги на одиночек-киргизов, – товарищи грабили, она держала верблюдов.

– Своей части добычи и не брала, противно было. Мне только интересно было в этом поучаствовать.

И вспыхнула: стыдно стало, что как будто оправдывается.

Было уж поздно. В комнату набиралась чужая публика. Стали расходиться. Нинка вышла вместе с Басей и Чугуновым.

Бася взволнованно говорила Чугунову:

– Как мог ты, Марк, при всех рассказывать, как вы оглушали друг друга пальбой! Удивительно полезно молодежи слушать про такие геройские подвиги! Если даже это и было, то – к чему? А и было-то, наверно, только раз-два, как случайность.

Глаза Баси сурово блестели. Марк с веселой усмешкой возразил:

– Случайность? Ну, тебе, видно, лучше знать.

Положил руку на плечо Нинки и спросил:

- Скажи, что тебя понесло в Голодную степь? Ведь не могли ж тебя, такую юную, мобилизовать? Сколько тебе лет было?

Нинка холодно ответила:

- Пятнадцатый год. Я сама заявила желание. Даже не хотели брать. Я сказала, что мне минуло шестнадцать.

- А что ты смыслила в гужевом транспорте?

- Никто у нас не смыслил. Чистейшая была авантюра.

- А как вы этого киргиза несчастного за собою таскали, как грабили их, - ужли тебе не было жалко?

Черные брови Нинки по-детски высоко поднялись, потом набежали на самые глаза, темным облаком покрыв лицо.

- Было жалко, ясно. Я очень плакала. - И прибавила с вызовом: - Только я люблю всякие эксперименты. Хотела и это все испытать.

Глаза Марка весело смеялись.

- Я и сам год целый пробыл в Туркестане, воевал с басмачами. Люблю тамошние степи! И ты, как вижу, любишь, - да?

- Ага! - И глаза Нинки, невольно для нее, приветно загорелись.

Бася и Марк проводили ее до трамвайной остановки, дождались, пока подошел вагон, и потом, Нинка видела, пошли, тесно прижавшись, по направлению к Васиной квартире. Стало почему-то одиноко.

(Почерк Нинки.) - Постараюсь объяснить себе, почему я так много думаю о Марке, с нетерпением жду его письма, а еще с большим - встречи с ним. Как странно он ведет себя со мной! Впечатление создается такое, что он будто задыхается от массы пережитого, что ему нужно с кем-то поделиться, - так почему же именно со мной? Почему не с Басей? Неужели только потому, что недавно знакома с ним, а ведь с чужим говорить легче. Если бы так вел себя другой парнишка, то я реагировала бы по-другому. Но ведь это Марк, герой гражданской войны, с орденом Красного Знамени, старый партиец-пролетарий, прошедший подполье и ссылку. Неужели он переживает то, что нами уже пережито, всякие ерундовые любовные увлечения? Да нет, ясно, дело не в этом. Письма его - чисто товарищеские, и у меня к нему отношение как к старшему товарищу, у которого можно многому научиться и много узнать.

(Почерк Лельки.) - Что за Марк? В первый раз слышу. И все-таки думаю, что ты ошибаешься на этот раз, пронизательная моя Нинка. Суть дела тут не в «товарищеских» письмах и отношениях, а кое в чем другом. Не знаю твоего Марка, но думаю, что не ошибусь.

(Почерк Нинки.) - Лелька! Давай поссоримся на две недели.

(Почерк Лельки.) - Сейчас не хочется. А все-таки дело не в товарищеских отношениях. Дело в другом, - я тебе об этом скажу на ушко. Дело в том, что мы с тобою - красивые и, кажется, талантливые девчонки с такими толстыми косами, что их жалко обрезать, поэтому к нам льнут парни и ответственные работники.

(Почерк Нинки.) - Ге-ге-ге! Что ж, может быть, так оно и есть. Тогда все это становится о-ч-е-н-ь и-н-т-е-р-е-с-н-ы-м. Я сразу начинаю себя чувствовать выше его. Меня начинает тянуть к себе эксперимент, который мне хочется произвести над ним... и над собой. Ну что ж!

Будет буря! Мы поспорим
И поборемся мы с ней!

* * *

(Почерк Лельки.) – Встретила на районной конференции Володьку. Он выступал очень ярко и умно по вопросу о задачах комсомола в деревне. Когда увидел меня, глаза вспыхнули прежнею горячею ласкою и болью. Парнишка по-прежнему, видно, меня любит. Мое отношение к нему начинает меняться: хоть и интеллигент, но, кажется, выработается из него настоящий большевик. Я пригласила его зайти, но была очень сдержанна.

* * *

На квартире у Марка Чугунова на Никитском бульваре Нинка неожиданно подошла к выключателю и погасила электричество. Марк на минуту замолчал удивленно, потом продолжал говорить более медленно, а сам пренебрежительно подумал: «Ого!» Замолчал, в темноте подошел к Нинке и жадно ее обнял.

Нинка в негодовании отшатнулась, вскочила и сказала, задыхаясь:

- Неужели нельзя душевно разговаривать без лапни!

Загорелся свет и осветил сконфуженное лицо Марка.

- Я подумала: насколько легче и душевнее будет нам говорить в темноте. А ты... – Нинка села в глубину дивана, опустила голову, брови мрачно набежали на глаза. – Больше не буду к тебе приходить.

- Ну, Нинка, брось. Не обращай внимания.

Лицо у него было детски-виноватое.

- Можем еще где-нибудь встречаться, на улицах вместе гулять. А к тебе не стану приходить. Мне неприятно.

Марк ответил грустно:

- Мы так нигде не сможем разговаривать, как у меня. А нам с тобою о многом еще нужно поговорить. Я чувствую, что у нас могут установиться великолепные товарищеские отношения. Ты мне очень интересна.

В ее глазах мелькнула тайная радость, но она постаралась, чтобы Марк этого не заметил. Встала, подошла к окну. Майское небо зеленовато светилось, слабо блестели редкие звезды, пахло душистым тополем. Несколько времени молчали. Марк подошел, ласково положил руку на ее плечо, привел назад к дивану.

- Ну, кончай, что начала говорить. Мне это очень интересно.

Нинка оживилась.

- Да. Я о том, что ты сейчас рассказывал. Вот. Вы жили ярко и полно, в опасностях и подвигах. Я слушала тебя и думала: в какое счастливое время вы родились! А мы теперь... Эх, эти порывы! Когда хочется сорваться с места и завертеться в хаосе жизни. Хочется чувствовать, как все молекулы и нервы дрожат.

Она в тоске стиснула ладони и сжала их меж коленок. Марк сказал с усмешкой, смысла которой она не могла уловить:

- Это, товарищ, называется авантюризмом.

Нинка мечтательно продолжала:

- Хорошо было раньше в подполье. Хорошо бы теперь работать нелегально в Болгарии, Румынии или в Китае. Неохота говорить об этом, но что же делать? Глупо, когда живешь этими мыслями, дико, ведь и сама знаю, что это называется авантюризмом... А ты меня, правда, не мог бы устроить в Китай или, по крайней мере, в Болгарию?

Они ужинали, потом пили чай. Блестящие глаза Марка смотрели горячо и нежно, в душе Нинки поднималась радостная тревога. Но такое у нее было странное свойство: чем горячее было на душе, тем холоднее и равнодушнее глядели глаза.

Марк внимательно поглядел на нее, и губы его нетерпеливо дернулись, совсем как у избалованного ребенка. Нинка вдруг вспомнила слова Баси о его бесчисленных романах, предсказание ее, что она, Нинка, влюбится в него. «Ого! Еще поглядим!»

Встала, взглянула на свои часы в кожаном браслете и скупающе сказала:

- Пора идти, скоро час.

- Ну, подожди, что там!

- Нет, пойду. Привет!

Марк положил руки на ее плечи и близко заглянул в глаза.

- Так как же, Нинка? Сможем мы устроить хорошие товарищеские отношения, хочешь ты их?

Она ответила очень серьезно:

- Хочу, Марк. Ты мне тоже интересен, и сам ты, и все твои переживания.

- Ну, прощай.

Он обнял ее за талию, привлек к себе. В их среде это было дело обычное. Поцеловал в косы, потом закинул ей голову, поцеловал в губы, и она ему ответила. Вдруг он крепко сжал ее и стал осыпать бешеными поцелуями, совсем другими, чем раньше. Нинка потом вспоминала: «От таких поцелуев и пень бы затрепетал, не говоря обо мне». Губы ее ответно трепетали и ловили его поцелуи. Вдруг она почувствовала, что рука его шарит по ее груди и расстегивает пуговицы кофточки. Нинка крепко удержала руку и спросила громким, насмешливым голосом:

- Это что, начало товарищеских отношений?

Марк отшатнулся, закусил губу и отошел в угол. Нинка проговорила равнодушно:

- До свиданья.

И вышла.

Медленно открыла большую дверь подъезда, пошла по бульвару. Никитские Ворота. Зеленовато-прозрачная майская ночь. Далеко справа приближался звон запоздавшего трамвая. Сесть на трамвай - и кончено.

Нинка постояла, глядя на ширь пустынной площади, на статую Тимирязева, на густые деревья за нею. Постояла и пошла туда, в темноту аллеи. Теплынь, смутные весенние запахи. Долго бродила, ничего перед собою не видя. В голове был жаркий туман, тело дрожало необычно, глубокою, снаружи незаметною дрожью. Медленно повернула - и пошла к квартире Марка.

Подошла, взглянула вверх на окна, В них было темно. Как острая иголка прошла в сердце: он, - он у-ж-е л-е-г с-п-а-т-ь!

Быстро повернулась и пошла домой.

* * *

После этого она два письма получила от Марка, - горячие, душевные, зовущие. Настойчиво просил ее позвонить по телефону. Нинка без конца перечитывала оба письма, так что запомнила наизусть. После второго письма позвонила по автомату и оживленно-безразличным голосом сообщила, что сейчас очень занята в лаборатории, притом близки зачеты, и вообще не может пока сказать, когда удастся свидеться. Привет!

* * *

(Почерк Нинки.) - Очень интересно делать эксперименты. Интересно сохранять в полном холоде голову и спокойно наблюдать, как горячею кровью бьется чужое сердце, как туманится у человека голова страстью. А самой в это время посмеиваться и наблюдать.

Но - сказать ли всю правду? Я притворяюсь безразличной, но он мне о-ч-е-н-ь н-у-ж-е-н. Мне с ним необходимо поговорить, серьезно и ответственно.

* * *

(Почерк Нинки.) - Больше трех недель ни ты, ни я ничего тут не писали. Лелька!

* * *

(Почерк Лельки.) - Что такое значит? «Лелька!» - и больше ничего. Ну, что?

* * *

(Почерк Нинки.) - Лелька! Ты - девушка?

* * *

(Почерк Лельки.) – Конечно, нет. А ты?

* * *

(Почерк Нинки.) – Тоже нет. Больше об этом не будем говорить.

* * *

Нинка перестала бывать у Баси. Но случайно встретила с нею в театре Мейерхольда^[10]. Покраснела и хотела пройти мимо. Бася, смеясь, остановила ее.

– Чего это ты, Нинка, морду в сторону воротить? – Помолчала, со смеющимся вниманием взглядела ей в глаза: – Тебе неловко, что ты у меня «отбила» Марка? Да?

Нина прикусила губу, еще больше покраснела, брови низко набежали на глаза. Бася хохотала.

Неужели ты думала, я буду негодовать на тебя, приходиться в отчаяние? Милый мой товарищ! Вот если бы ты мне сказала, что нам не удастся построить социализм, – это да, от этого я пришла бы в отчаяние. А мальчишки, – мало ли их! Потеряла одного, найду другого. Вот только обидно для самолюбия, что не я его бросила, а он меня. Не ломай дурака, приходи ко мне по-прежнему.

* * *

Марк сидел в углу дивана, а Нинка лежала, облокотившись о его колени, смотрела ему в лицо и говорила, тайно волнуясь.

– Я с четырнадцати лет стала искать дорогу к единому, удовлетворяющему мирозерцанию. И мне казалось ясно: если я сохраню естественную человеческую честность, то я найду истину. Тяжело было, что нет ни от кого помощи, я увидела, что люди прячут свои естественные, сокровенные мысли как что-то нехорошее. Как будто кто-то их заставляет носить маски с девизом: «Я такой же, как все!» Я очень самолюбива, очень чутка на насмешки, и когда у меня самой срывалась маска под давлением искренних чувств, я быстро напяливала ее опять. В глубине страдала, а наружно улыбалась, вульгарничала, старалась исправить оплошность перед товарищами. А страдала – отчего? Знаешь, Марк, отчего? Я чувствовала, что надо срывать с людей маски, надо осмелиться самой выступить без маски...

Была у Нинки особенность, Марк всегда ею любовался. Черные брови ее были в непрерывном движении: то медленно поднимутся высоко вверх, и лицо яснее; то надвинутся на лоб, и как будто темное облако проходит по лицу. Сдерживая на тонких губах улыбку, он смотрел в ее лицо, гладил косы, лежавшие на крепких плечах, и сладко ощущал, как к коленям его прижималась молодая девическая грудь.

А Нинка говорила с одушевлением, все так же волнуясь в душе:

– С шестнадцати лет я имею довольно твердое и полное мировоззрение. Я нашла истину, я определила свое положение во вселенной. Мои взгляды с точностью совпали с «Азбукой коммунизма» Бухарина и Преображенского^[11] и вообще со всеми теми взглядами, которые требуются от комсомолки. Но дело-то в том...

Марк расхохотался, охватил Нинку за плечи и стал горячо целовать. Она удивленно и обиженно отстранилась. Хотелось продолжать говорить о том важном, чем она жила и во что необходимо было посвятить Марка, непонятно было, чего он расхохотался. Но он еще горячее припал к ее губам, целовал, ласкал и вскоре в страстный вихрь увлек душу Нинки.

Но потом, позже, когда она, истомленная и тихая, лежала, чувствуя его щеку на своем плече, она с враждою смотрела на его курчавую голову и с насмешкой говорила себе:

«Дура! Так тебе и надо. Чего полезла с интимностями?»

Взглянула на часы в кожаном браслете.

– Ой, мне давно пора.

Быстро оделась и равнодушно сказала:

– Ну, пока!

– Подожди, дай одеться. Хоть провожу тебя.

- Не надо.
И ушла.

* * *

(Почерк Нинки.)

1. Ценность – есть категория логическая?
2. Если прибавочная стоимость вырастает из неоплаченного труда рабочего, то не выгоднее ли капиталисту иметь на своем предприятии как можно больше рабочих, а не заменять их усовершенствованными машинами?
3. Техническое и общественное разделение труда.
4. Что такое «товарный фетишизм»? И что такое фетишизм вообще, без товара?

* * *

Шумною гурьбою парни и девчата возвращались в общежитие с субботника. У Зоопарка остановилась блестящая машина, военный с тремя ромбами крикнул в толпу:

- Нина!

Нинка подошла к Марку.

- Слушай, Нинка, что же это ты? На письма не отвечаешь, не приходишь ко мне. Рассердилась?

Она невинно подняла брови.

- Рассердилась? За что? Нет. Просто, расположения не было.

- Я за тобой. Садись, прокатимся за город.

Нинка поколебалась.

- Я обещалась с ребятами... Да нет! Слишком соблазнительно. Ладно, едем.

Чугунов радостно распахнул дверцу, Нинка села, автомобиль мягко сорвался и понесся к Ленинградскому шоссе.

- Откуда вы шли?

- С субботника, в пользу ликбеза. Работали на Александровском вокзале. Ребята грузили шпалы, а мы, девчата, разгружали вагоны с мусором. Очень было весело. На каждую дивчину по вагону. Устала черт те как! Смотри.

Она показала свежeweмытые руки с кровавыми волдырями у начала пальцев. Марк наклонился низко, взял ее руку и поцеловал в ладонь. Нинка равнодушно высвободила руку и продолжала рассказывать про субботник. Марк потемнел.

Августовское солнце сверкало. Машина подлетала уже к Петровскому парку. Вдоль кустов желтой акации при дороге во весь опор мчался молодой доберман-пинчер, как будто хотел догнать кого-то. Вдруг оглянулся на их машину, придержал бег, выровнялся с машиною, взглянул на сидевших в машине молодыми, ожидающими глазами, коротко лаянул и ринулся вперед.

Нинка всплеснула руками:

- Смотри, это он с нами перегоняется! Да, да, смотри!

Пес мчался и изредка на бегу оглядывался на машину.

- Товарищ шофер, перегоните его!

Солидный шофер что-то пренебрежительно пробурчал и продолжал ехать прежним ходом. Марк засмеялся.

- Ведь верно! Смотри, возвращается...

- Старт! Старт устанавливает!

Пес опять бежал вровень с машиной, поглядывал на шофера, опять коротко лаянул – и опять стремглав бросился вперед. Нинка схватила руку Марка.

- Нет, ты только подумай! Ну, хочет обогнать, – понятно. Но он не просто хочет обогнать, – ведь добросовестнейшим образом устанавливает старт. Как замечательно! Никогда бы не подумала!

Она в восторге трясла и пожимала руку Марка. Почувствовали себя друг с другом опять близко и просто. Марк покосился на спину шофера и опять поцеловал Нинку в ладонь, она в ответ ласкающе пожала его щеки.

Заехали далеко в поля. Гуляли. Понеслись назад. Нинка сказала:

- Чертовски хочется есть.

- Знаешь что? Поедем, пообедаем в хорошем ресторане.

- Ну! В столовку куда-нибудь. Никогда не была в ресторанах, не хочу туда. Буржуазный разврат. Да и платье на мне старое, все пылью осыпанное, как работала на субботнике.

- Никогда не была? Значит, поедем. Нужно все знать, все видеть. А что платье... - Его глаза сверкнули тем грозным вызовом, который иногда так изменял его добродушно-веселое лицо. - Что же, мы будем стесняться и стыдиться нэпачей?

Широкое крыльцо с швейцаром, вестибюль, пальмы. По лестнице, устланной ковром, поднимались вверх. На площадке огромное зеркало отразило поношенное, покрытое пылью платье Нинки и озорные, вызывающие лица обоих.

Маленькие столики с очень белыми скатертями, цветы, музыка. Но народу сравнительно было еще немного. Подошел официант, вежливый и неторопливый, предупредительно принял заказ, как будто не видел Нинкиного платья, - теперь это было дело обычное.

Вкусный обед, бутылка душистого хереса. У Нинки слегка кружилась голова от вина и от музыки. Марк спросил папирос, закурил, папиросы были дорогие и тоже душистые. Доедали мороженое, запивая хересом.

Марк наклонился к Нинке:

- Ну, Нинка, говори правду: сердилась на меня?

Нинка укусила губу, брови низко опустились на глаза и затемнили лицо.

- Тебе совсем неинтересно меня слушать. Я решила не говорить с тобой о том, что у меня на душе. Да и сама решила этим не интересоваться. Так дико - заниматься собственной личностью! Ведь правда?

- Нет. Мне очень было интересно, что ты говорила о масках. Я чувствую, что ты не стандартный человек, а я таких люблю.

Нинка с вызовом поглядела на него.

- погоди! Раньше узнай поближе, а тогда говори, любишь ли таких.

- Ой, как страшно! Ну, не тяни, рази прямо в сердце. Сразу, чтобы без лишних мучений.

Нинка разозлилась.

- Если будешь бузить, ничего не стану говорить. Для меня это очень важно, а ты смеешься.

- Верно. Глупо с моей стороны. - Он под скатертью положил руку на ее колено. - Ну, говори, меня страшно интересует все, чем ты живешь.

Музыка, выпитое вино, папироса, ласка любимого человека - все это настраивало на откровенность, хотя и страшно было то, что она собиралась сказать. Ну что ж! Ну и пускай! Отшатнется от нее, - очень надо! Ведь все, что у нее с ним было, - это только э-к-с-п-е-р-и-м-е-н-т. Очень она кого боится!

И, глядя с прежним вызовом, Нинка стала говорить, что у нее две «души», - поганое слово, но другого на место его у нас еще нету. Две души: верхняя и нижняя. Верхняя ее душа - вся в комсомоле, в коммунизме, в рациональном направлении жизни. А нижняя душа против всего этого бунтует, не хочет никаких пут, хочет думать без всяких «азбук коммунизма», хочет иметь право искать и ошибаться, хочет смотреть на все, засунув руки в карманы, и только нахально посвистывать.

- Да, вот и знай: от этого я никогда не откажусь, как никогда не откажусь и от коммунизма, от того, чтобы все силы жизни отдать ему. Ты - пролетарий, ты цельный человек, тебе все это непонятно.

Марк мямлял в руках маленькую руку Нинки. Добрая-добрая усмешка играла на бритом лице.

- Только одно ты всем этим сказала: что ты молода, что в тебе много кипит силы, что все еще бродит и пенится, все бурлит и шипит. Не беда. Я чувствую твою душу. Выбьешься из этих настроений и выйдешь на широкую нашу дорогу. А что будешь в стороне заезжать, что будешь ошибаться...

Он замолчал, пристально поглядел на Нинку.

- Ты понимаешь по-немецки?

- Понимаю, но не очень. А ты разве знаешь?

- Знаю порядочно. В ссылке изучил.

Еще поглядел на Нинку, достал блокнот, стал писать карандашом. Вырвал листок и, улыбаясь, протянул Нинке:

- Прочти дома... Ну, кончили?

Расплатился, вышли. Он горячим шепотом спросил:

- Ко мне?

Она молча наклонила голову. Мчались вдоль Александровского сада, он обнял ее за талию, привлек к себе.

- Нинка, как я тебя люблю! И как тосковал по тебе эти дни, когда ты от меня ушла. А ты - любишь меня хоть немножко?

- Не могу наверно сказать... Н-не знаю.

В общежитие Нинка воротилась очень поздно, когда все уже спали. Достала листок из блокнота, прочла:

Wenn du nicht irrst, kommst du nicht zu Verstand,
Willst du entstehn, entstehn' auf eigne Hand!

Мефистофель во второй части «Фауста» Гете.

Рылась в словаре, подыскивала слова. Наконец перевела: «Если не будешь ошибаться, не придешь ни к чему толковому; хочешь возникнуть, - возникай на собственный лад».

Долго сидела, закинув голову, и улыбалась. С этого вечера она по-настоящему, горячо полюбила Марка.

* * *

Нинка ехала на трамвае и волновалась. Вот уже глубокая осень, между ними было так много, а у нее все те же вопросы: кто он ей? Кто она ему? И зачем этот трепет?

Подъехала к Никитским Воротам раньше назначенного срока, но не пошла к Марку. Решила: нарочно, вот нарочно опоздает на двадцать-тридцать минут, пусть не думает, что ей так нужен. Бродила в темноте по Гоголевскому бульвару, глядела, как последние листья ясеней падали на дорожку.

И все думала о Марке. Крупный работник, революционер. Ну, не смеется ли над нею жизнь? Зачем она полюбила члена Реввоенсовета, «работника во всесоюзном масштабе»? Разве может член Реввоенсовета понять глупую комсомолку, которая стремится уйти в дебри лесов и степей? Что если бы встретились они в семнадцатом году: девятилетняя девочка со смешными косичками и закаленный революционер, прошедший через тюрьмы и ссылки? Что было бы тогда? В лучшем случае, если бы она ему понравилась, подарил бы леденец: соси и усладжайся. А теперь - нужна ли она ему? Что он думает о ней? Что у него вообще в душе? Она н-и-ч-е-г-о не знает. И как у него хватает времени встречаться с нею, ведь он так занят!

Знает ли он, как нужен ей?

Подошла к большим дверям подъезда. Широкая лестница. На втором этаже дверь и медная дощечка с его фамилией. Постучалась в кабинет. Вошла, Марк лежал на кожаном диване, повернувшись лицом к спинке. Не обернулся, молчал. «Ге-ге! Сердит, почему опоздала». Радость хлестнула в душу: значит, ждал, тяжело было, что она опаздывает.

Долго молчали.

Почему-то расстегнулся браслет от часов, и никак не могла застегнуть. Ой, так ли?

- Марк, помоги!

Браслет застегнут, но ее рука осталась лежать на его колене. Он заглянул ей в глаза, улыбнулся и с шутливой мстительностью ударил концами пальцев по ее щеке.

Зеленый из-под колпака свет лампы. Глубокая тишина располагала к близости. Сидели оба на диване. Он держал в теплых руках ее руку. Нинка говорила о себе, о Сибири, о зное этих ветров.

- Марк, ты слушаешь?

- Да, да.

- Объясни, почему так, почему эти уголовные наклонности, почему было тогда такое хищное искание авантюры, самых диких, опасных, а главное - безыдейных? Ведь не с басмачами мы дрались, а с мирными жителями. Свист ветра, удачное бегство от погони, вот что нужно было мне тогда. Знаешь? И теперь иногда жизнь кажется мне узкой колодкой, я не могу найти людей по себе. А раз их нет, то не все ли равно, кто окружает тебя, - благовоспитанная бездарность или яркая сволочь? Мне кажется, я живу «пока». Больше делаю вид, что живу.

Марк забарабанил пальцами по валику дивана. Нинка быстро взглянула на него.

- Ты слушаешь, Марк?

- Ну да же!

- Вот ты вошел в мою жизнь, я сразу почувствовала, что с тобою вошел кусок «настоящего». Мне так легко говорить с тобою, Марк, при тебе я невольно становлюсь требовательной к жизни, к людям и к себе. Кажется, вот-вот почищусь от прошлой жизни, отряхнусь - и снова стану строгой, горящей и нежной. Марк, понимаешь ты меня? Ведь столько противоречий!

Погасили свет, его голова лежала на ее коленях, она гладила его волосы. В душе была большая нежность, тихо дрожала непонятная грусть.

- Марк, давай говорить легко и свободно, как будто мы должны завтра умереть.

Он с веселым недоумением спросил:

- Почему же умереть?

- Марк, расскажи о себе.

Но ласки его становились все горячее, и сама она все больше разгоралась.

Но потом, когда была усталость и истома, когда голова его, как всегда, лежала на ее груди, она опять сказала упрямо и настойчиво:

- Марк, расскажи о себе.

Он вяло отозвался:

- О себе? Мало я рассказывал!

- Не то. Не внешнее.

Марк потянулся и зевнул.

- Долго рассказывать. Ты лучше вот что: вон на столе лежит анкета для ЦК, - я ее сегодня заполнил. Возьми и прочти. Там все сказано.

- Все?! Там сказано - все?

Нинка вскочила, зажгла свет, босая подседа к Марку на постель, жадно заглянула ему в глаза. Он не успел спрятать, что было в них. А была в них - скрытая скука. Да, ему было скучно!

Быстро потушила свет, оделась в темноте. Марк сонно молчал. Опять зажгла электричество.

- Прощай. Мне нужно идти.

Только бы не выдал голос. Пусть Марк никогда не узнает, что он сделал с ее душой. Ни слова ему не скажет, - молча уйдет навсегда из его жизни.

Домой шла темными переулками, шаталась от боли, скрипела зубами. Все лучшее растоптано. Пройдут года, она будет пожилой женщиной с седыми прядями в волосах, но этого вечера никогда не забудет. Вывернуть себя наизнанку, просить помощи - у кого?

То, чем она жила, - для нее все это было так страшно, она ждала от него четкого ответа, как от старшего товарища и друга. Когда он посмеивался на ее откровенности, она думала: он знает в ответ что-то важное; разговорятся когда-нибудь хорошо, и он ей все откроет. А ему это просто было - неинтересно. Интересны были только губы и грудь восемнадцатилетней девчонки, интересно было «сорвать цветок», - так у них, кажется, это называется.

* * *

(Отдельный дневничок в красивой красной обложке. Записи только почерком Нинки.)

Он вчера нашептал мне много,
Нашептал мне страшное, страшное...
Он ушел печальной дорогой,
А я забыла вчерашнее -
забыла вчерашнее.

Вчера это было - давно ли?
Отчего он такой молчаливый?
Я не нашла моих лилий в поле,
Я не искала плакучей ивы -
плакучей ивы.

Ах, давно ли! Со мною, со мною
Говорили и меня целовали...
И не помню, не помню - скрою,
О чем берега шептали,
берега шептали.

Я видела в каждой былинке
Дорогое лицо его страшное...
Он ушел по той же тропинке,
Куда уходило вчерашнее -
уходило вчерашнее...

Я одна приютилась в поле,
И не стало больше печали.
Вчера это было – давно ли?
Со мной говорили и меня целовали –
меня целовали.

Просто удивительно, что это не я написала, а Блок.
(*Вся страница закапана слезами.*)

* * *

(*Общий дневник. Почерк Лельки.*) – Нинка! Ты за последний месяц так изменилась, что тебя не узнаешь. Белые, страдающие губы, глаза погасли. У тебя всегда в них был оттенок стали, я его очень любила, – теперь его нету. Разговариваешь вяло. Мне тебя так жалко, жалко! Хочется взять за голову, как младшую сестренку, кем-то обиженную, и говорить нежные, ласковые слова, и защитить тебя от кого-то.

* * *

(*Почерк Нинки.*) – Лелька! Ты спятила с ума! Какая пошлость! Тебе меня – ж-а-л-к-о! Катись ты к чертям. Неужели не понимаешь: можно простить человеку многое, – нечуткость, грубость, даже жестокость, но нельзя простить жалости к себе. И еще: «защитить от кого-то». Запомни навсегда: я сама за все отвечаю, сама творю все, что со мною случается, и не желаю ни в чем раскаиваться. Терпеть не могу пай-девочек.

А когда-нибудь, когда буду в настроении, я расскажу тебе веселенькую сказочку про одного очень глупого мотылька. Он увидел, – горит свеча. Сказал себе: «Произведу над огнем эксперимент!» И – пролетел сквозь огонь. Результат: свеча горит по-прежнему, а мотылек, с обожженными крыльями, кувыркается на поверхности стола. Это очень смешно.

* * *

(*Почерк Нинки.*) – Лелька! Как только вспомню, я начинаю злиться, и пропадает охота писать в этом дневнике. Беру с тебя слово комсомолки: никогда не проливать надо мною слез жалости и никогда не хныкать надо мною. Только в таком случае могу продолжать писать в этом дневнике.

* * *

(*Почерк Лельки.*) – Это было так, минутное. Конечно, больше никогда не повторится. А бросить писать дневник очень было бы жалко. И теперь его интересно перечитывать, когда мы еще дышим тем же воздухом, которым обвеян дневник. А лет через двадцать-тридцать, когда во всем мире будет коммунизм, когда новое бытие определит совершенно новое сознание, мы жадно перечитаем смешную и глупую сказку, какую покажется этот наш дневник. Будем удивляться и хохотать.

* * *

(*Почерк Нинки.*) – Я не понимаю маму: все-таки она была революционеркой. Как она может иметь общение с той беспартийной шпаной, которая забилась от октябрьского нашего вихря в щелки всяких художественных и краеведческих музеев? Вчера сидел у нее один такой, – корректный, «вы изволили сказать», только крахмального воротничка не хватало.

Рассказывал:

– Мы с женой тогда были еще женихом и невестой...

Я вытаращила глаза.

– Что такое значит – «жених и невеста»? Я не понимаю.

Он вежливо изумился.

- Не понимаете этих слов?

- Слова-то понимаю. Знаю, что в старые времена родители без ведома дочери сватали ее, за кого хотели, жених до свадьбы даже ее не знал, потому называлась «невеста». Но вот вы, например... Значит, вы любили друг друга и ждали - чего? Неужели, правда, так бывало и у интеллигентных людей, что сойдутся к ним знакомые, и им всем объявляют: сегодня ночью мы станем мужем и женою. Все пируют, поздравляют, а к ночи жених и невеста торжественно направляются в «брачный чертог» и там, с благословения родителей и с поздравлениями друзей, отдаются друг другу?

Я видела, его всего корежило, что я так просто говорю о таких «деликатных» вещах. Но видела еще, что он совсем растерялся и сам как будто в первый раз почувствовал нелепость того, что было раньше.

Эх, весело становится, сколько мы такого заплесневелого тряпья выбросили за борт нашей лодки, прыгающей с волны на волну к новой жизни!

* * *

(Почерк Лельки.) - С демонстрации 7 ноября. Я так устала, что завалилась на постель и продряхнула, не раздеваясь, до двенадцати ночи. Днем обегала все организации Хамовнического района^[12] и не нашла Володьки Черновалова, хотя он был там, где я его искала, но очень быстро прошвырнулся. Глупо как-то у меня все выходит. Я измельчала за последнее время, только и думаю, как бы Володька от меня не ушел и как бы не догадался, что я к нему тянусь все сильнее. Собственно говоря, сказать по совести, я хочу любви, что ли, или - как она там называется? Не хочется говорить об этом, как-то паршиво, но что делать, Нинка? Пусть хоть ты знать будешь, к чему лежит моя душа. Эх, Нинка! У всех у нас одна болезнь - мальчишки. Глупо, когда живешь этим. И не покомсомольски. Но что же делать? Вот я теперь подделалась под массу, не стою выше ее и ничем не отличаюсь от типичной комсомолки в красной косынке... Как странно у меня перебегают мысли: начала с парнишки, а кончила «человеком-массой». Нет, положительно, мне необходимо заняться математикой, ибо она систематизирует мысли, вырабатывает ясный ум. А я - дура, и хаос всегда в мыслях. Ничто и никто не заставит меня теперь относиться с уважением к себе. Когда-то было наоборот.

* * *

(Почерк Нинки.) - Смотрю вперед, и хочется четкости, ясности, определенности. Никакой слякоти внутри не должно остаться. Дико иметь «бледные, страдающие губы» из-за личных пустяков. Хотелось бы прочно стать на общественную дорогу, как следует учиться. Все так и смотрят на меня: «энергичная, боевая, с инициативой и неглупая, пойдет далеко». И нельзя заподозрить, какая большая во мне червоточина есть. Ну ладно, не скули, глупая, живи рационально.

(Почерк Нинки.) - 15 янв. 1927 г. Вечером с собрания шли большой толпой в общежитие. Шли переулками и пели. Любимая моя:

Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока не поймаю;
Как поймаю, - зануздаю
Шелковой уздой.

Было очень хорошо, мягкий морозец и тишина. Борька Ширкунов отозвал меня в сторону и спросил, соглашусь ли я быть курсовым комсомольским организатором. Для приличия я помолчала, «подумала» и сказала, что ничего не имею против, а сердце колотилось от радости за доверие ко мне. Присоединилась к ребятам, снова пела, но по-другому, как-то звончее.

Потом заспорили с Ленькой и Мишкой о бытовой этике и о безобразном отношении парней к девочкам. Пришли в общежитие. Разожгли в нашей комнате буржуйку (общежитие наше - старый деревянный дом, очень холодно). Стали пить чай, продолжали спорить, бузили, смеялись. В комнате нас пятеро: две комсомолки и трое беспартийных. Беспартийные были уже в постелях, лежали спиной к свету и спали. Вот тоже - жизнь! Позубрили учебники, потом сходили в кино или пофлиртовали в уголках с парнями - и спать. Никаких захватывающих интересов, никакого широкого

товарищеского единения. Ах, милый мой комсомол! Помирать стану – и тогда буду вспоминать наши собрания, споры, дружную товарищескую спайку, это слияние разнообразных людей в один крепкий коллектив, горящий любовью к новой, никогда еще на земле не бывавшей жизни.

19 янв. – Состоялось курсовое комсомольское собрание, повестка дня:

1. Выборы курсорга.
2. Принятие в комсомол.

И вот я – курсорг! Но заместитель мой – Шерстобитов. Я о нем здесь один раз уже писала, – как он выступал, что нынешняя молодежь не думает о поцелуях и лунных ночах, а думает только о социализме. Мое глубокое убеждение, что он носит маску. Так всегда выступает благородно и стопроцентно, что начинает подташничать. Он – большой, басистый. Густой рыжеватый чуб мелкокудрявых волос свисает на лоб, а затылок красный и подбритый. Губы крупные; когда серьезные, то ничего, а усмехнется – сразу я чувствую, что пошлая душа и дурак, хотя говорит очень складно.

Ну что ж, Нинка! Помнишь, полгода назад ты говорила одному человеку, что надо срывать с людей маски? Теперь, по-видимому, представляется случай. Уж я его не упущу. Радостно чешутся руки.

Товарищ, сознайтесь: когда заходите в бюро, то сердце по-особенному начинает биться, и охватывает робость перед ребятами из бюро. Глупо и стыдно, но это так, и они мне кажутся особенными, «избранными». Как будто я не могу дорасти до них!

23 янв. – При бюро ячейки было совещание курсовых организаторов, прорабатывали план работы на это полугодие. Хочется всю себя отдать организации. Был и Шерстобитов.

25-го. – Безобразно проходят у нас занятия политкружка. Шерстобитов ничего этого не замечал. Руковод, наверно, к занятиям совсем не готовится. Ребята тем более, в самых элементарных понятиях путаются. Руковод договорился до того, что у нас эксплуатация на государственных заводах! И это не уклон какой-нибудь, а просто безграмотность. Не мог объяснить разницу между прибавочным продуктом и прибавочной стоимостью. Приходится брать на занятиях слово и исправлять чужь, которую он гордится.

28-го. – Говорила на бюро. Руковод сняли, а Шерстобитову дали нахлобучку, что ничего не замечал.

30-го. – Мне радостно работать в комсомоле, эгоистически-хорошо. Радостно и потому, что на твоих глазах растет мощная организация смены старых бойцов, – но и потому, что, когда работаешь, шаг делается тверже, глаза смотрят прямее, и нет той глупой застенчивости перед активом, которая так меня всегда злит, и в то же время ничем ее из себя не выбьешь, если не работаешь. И еще: кипишь в деле, пробиваешься вперед, – и нет времени думать о том, что дымящаяся азотная кислота непрерывно разъедает душу.

Мне очень нравится состав нашего бюро, под его руководством не пропадешь. Но один парень особенно, – Борька Ширкунов, который меня запрашивал, хочу ли в курсорги.

* * *

(Почерк Лельки.) – Все полно одним. Вот уже год все мысли во власти этого проклятого вопроса. И в конце концов – паршивая душевная трагедия, любовь без взаимности. Вначале было наоборот: ласки, дружба с его стороны. Я же рассуждала так: интеллигент, барский сынок, ничего комсомольского. Не такого я полюблю, а пролетария настоящего. Так я думала до осени 25-го года, пока была активной занята работой, считалась боевой комсомолкой, вела ответственный кружок на фабрике, он же только вступил в нашу молодежную организацию. С моей стороны было пренебрежение, нехорошее интеллигентское снисхождение. Позволяла целовать и ласкать себя, но все время считала, что это все несерьезно, пока, так себе. И вот – Лелька за свое сволочное поведение получила возмездие. Парень меня любил, но время не терял. За эти полтора года из него выработался активный член комсомола, он учится в коммунистическом университете имени Свердлова, его уже знают и отмечают наши вожди. Я же – рядовая вузовка, отсталая комсомолка, мямля, ни к черту не годная. Вообще дрянь. Опустилась, настроение упало. Хочется читать Блока, Ахматову, Есенина.

* * *

(Почерк Нинки.) – Сижу вечером в аудитории, – должна была быть лекция по

термодинамике; вдруг влетает Женька Ястребова, золотая копна волос чуть прикрыта платком. Настойчиво зовет меня в свое общежитие, причины не говорит. Пошли.

Еще на дворе были слышны пьяные голоса, звон посуды. Оказывается, у Шерстобитова в комнате пьянка. К нему я не пошла, сидела у Женьки. Мимо нас тяжело топали нетвердую поступью. Ребят рвало в коридоре, и они снова шли пить.

Вышла в коридор. Прислонившись к окну, стоит Темка Кириллов. Он – парень хороший, искренно преданный, но безвольный. Ребяческая рожа перекошена, губ падает на бледный лоб. Я взяла его за шиворот, ввела в комнату.

– Неужели ты не видишь, с какой сволочью связался? Отправляйся сейчас же домой, выпипись, а завтра с тобой говорить буду. Или из комсомола вылететь захотел?

Парень послушался и ушел. В коридор вышел Шерстобитов с беспартийным парнем, и сквозь перегородку Женькиной комнаты нам слышен был разговор. Шерстобитов бил себя кулаком в грудь и орал басом:

– Я за Троцкого душу отдам!

А беспартийный ему доказывал правильность линии ЦК. Сценка на ять.

Вот мерзавец! А сам на собраниях распинается за генеральную линию и оппозиционеров кроет, да с такой руганью, что даже ребята его останавливают. Я вышла в коридор, поглядела внимательно на Шерстобитова и пошла домой.

10 февр. – Развила самую электрическую деятельность, подбирала материал о Шерстобитове, почти неделю только этим и была занята. Вот результат:

1. По карточкам получал мануфактуру и отцу в деревню посылал, а тот ею там спекулировал.

2. Жена Шерстобитова – дочь помещика, глупая, ограниченная девчонка. Он над нею издевается, мучает, запугал совсем. Постоянно крутит с девчонками, а когда она пытается уйти, он угрожает: «Если уйдешь от меня, лишенкой станешь, с голоду помрешь».

3. Дезорганизует общежитие, не несет дежурств, не соблюдает регламента, часто пьянствует в компании беспартийных и втягивает в это дело наших комсомольцев.

4. На собраниях против оппозиции, а в общежитии выступает против ЦК за оппозицию. Одно слово – двурушник. Тоже – очень любит говорить на собраниях о здоровом быте, а сам совсем разложился!

12 февр. – Здорово сегодня на бюро поспорили с Борисом Ширкуновым. Я считаю неправильным, что так много ребят на вузовской работе. Нужно больше посылать на вневузовскую работу, в производственные ячейки, особенно на пропагандистскую работу. И без того разверстку райкома еле-еле выполнили. Все себя обслуживаем, а обслужить никак не можем. Много у нас не работы, а суеты и видимости одной.

Вот так всегда, какой бы вопрос мы ни затронули: Борис – на одной стороне, я – на другой. А домой шли миролюбиво, беседовали. Чем он мне нравится? Что у него лицо серьезное и решительное, – такие лица бывают только у людей, твердо делающих ответственное дело. С нами была и Женька. Я Борису все рассказала про Шерстобитова, Женя мне поддакивала. Борис с очень серьезным лицом мне посоветовал выступить на собрании: послезавтра совместное с бюро собрание курсовых организаторов. Но, кажется, в этом вопросе он не особенно мне доверяет. Ну и пускай, очень мне он нужен! Пойду на бой одна.

14 февр. – На собрании я выступила, рядом сидел Шерстобитов. Внутри я очень волновалась, но, кажется, говорила вполне спокойно. Только, по словам Женьки, губы стали очень бледные. Рассказала, как плохо бюро осведомлено о работе курсовых коллективов, какую чепуху несет в нашем коллективе руковод политкружка. Коснулась и бытового разложения Шерстобитова. Женька уверяет, – говорила очень твердо и умно.

Кончила. Ребята глядят по сторонам и молчат. Председатель помолчал, не предложил никому высказаться по поднятому мною вопросу и перешел к следующему пункту повестки.

Единственная реакция – молчание. Та-ак! Ну, не на таковскую напали. Что ж, пусть вызовут в бюро, пусть назначат расследование. Я от своего не отступлюсь.

18 февр. – В бюро еще не вызывали. Я туда не хожу сама. Бориса эти дни не видала. Но совершенно ясно: не сдамся ни за что.

23 февр. – Пошла в бюро. Сидел один Борис. Я спросила, почему бюро никак не реагировало на мое выступление. Он мнетя, чего-то не договаривает. Не доверяют? Я категорически, самым резким образом сказала, что требую расследования, так как за свои слова отвечаю и от них не отказываюсь.

1 марта. – Вчера вызывали Шерстобитова на бюро, он все отрицал, но Темка и другие ребята на мои ловкие вопросы понемногу рассказали все его художества. На следующий день, то есть сегодня, хотели вызвать жену Шерстобитова и сказали ему это. Он вылетел

бомбой из бюро, побежал домой, повесил петлю на гвоздь и хотел вешаться; так застала его жена, войдя из кухни. Тогда он с кухонным ножом выскочил на двор, но поцарапал слегка руку и бросил нож.

Ну, что, Нинка? Он плохой комсомолец, даже просто мерзавец, но – спокойно ли у тебя на душе, когда, может быть, вот в эту сейчас минуту он режется или вешается, и ты – косвенная тому причина? Конечно, вполне спокойно! Что за интеллигентский гуманизм!

2 марта. – Трагедия превратилась в комедию. Ребята из бюро мне рассказывали, что все это Шерстобитов разыграл нарочно, чтобы запугать жену, и чтоб она о нем ничего не рассказывала в бюро. Но она под напором ребят много рассказала о нем, даже чего я не подозревала.

Теперь бюро поняло, что я была права, никаких личных счетов не было у меня с Шерстобитовым, да он и сам подтвердил.

А Борис, свинья, только сегодня мне сознался, что подозревал личные счета.

5 марта. – Было собрание. Сухо и сдержанно Борис информировал от имени бюро, что ввиду бытового разложения и политической невыдержанности Шерстобитов снят с работы и его дело передано в РКК, и предложил избрать нового заморга. Ребята, друзья Шерстобитова, попробовали бузить, требовали доказательств, но Борис им ответил, что дело, идущее через РКК, может коллективом не обсуждаться.

Итак, в борьбе победила я. Маска сорвана и, растоптанная, валяется на земле. А – кто сорвет маску с меня?

* * *

(*Почерк Лельки.*) – Прочла, что ты тут записала за полтора месяца. К-а-к с-к-у-ч-н-о! Неужели тебе интересно тратить силы и нервы на такие пустяки? А мне сейчас все – все равно. Не хочется даже писать в этом дневнике.

Сегодня прочла стихи Ходасевича «Счастливым домик». Выписываю пять стихов:

В тихом сердце – едкий пепел,
В темной чаше – тихий сон.
Кто из темной чаши не пил,
Если в сердце – едкий пепел,
Если в чаше – тихий сон?

* * *

(*Почерк Нинки.*) – Я торжествую! Вчера после лекции ребята давали мне характеристику. Борис заявил, что у меня, как он убедился, «большой интеллект», а «в бытовой этике я настоящая женщина-коммунистка». Лелька, что скажешь на это? Ведь мне говорят! Той, у которой сплетены тесно романтизм и реализм, идеализм и материализм. Что бы сказали они, если бы услышали наши разговорчики о «символе лестницы»? Разве не я тоскую по сухим зауральским степям? Как я рада, что все это внешне не выплывает. Знаешь ведь ты, как раньше приходилось за собой следить, чтобы даже в мелочах не проявилась романтика, а теперь даже следить не приходится: внешняя форма образовалась и окрепла. Что касается внутреннего содержания, то меняется и оно, только более болезненно.

А все-таки я осталась очень глупой!

* * *

(*Отдельный красный дневничок. Почерк Нинки.*) – Я его любила глубоко, но всегда говорила, что не люблю. А он всегда говорил, что любит меня, и не любил. Было поверхностное отношение, к моим переживаниям не относился серьезно, а мне так нужен был его товарищеский отклик друга и закаленного революционера.

Помнишь ли ты меня, Марк, или таких много дурочек, которые идут на ласку, как рыбка на приманку? Вот вечный вопрос. Кто бы ответил на него, я много бы дала. Конечно. Большая черная точка. Хорошо еще, что нагрузка в сто процентов не дает времени на размышление.

* * *

(Общий дневник. Почерк Нинки.) – Меня выдвинули ребята в секретари предметной комиссии. Много предстоит борьбы с реакционной профессурой.

* * *

(Почерк Лельки.) – Нинка! Мне скучно! Мне неинтересно стало жить. Хочется хоть пошарлатанить по-настоящему. Вот что было.

Позвонили из райкома в наш агитпропколлектив – прислать докладчика о новом быте на завод «Красный молот». Назначили меня, зашла в райком, взяла путевку. Целый день работала в химической лаборатории. Вечером села писать тезисы к докладу. Было самое несерьезное отношение к нему. Говорить о новом быте, а у самой цельного взгляда не выработалось. И разве можно легко выработать его в такой сложной и запутанной обстановке? Да еще задевать о любви, все брать в рациональном духе, подводить экономику, когда я тут и в самой себе не могу разобраться и не могу понять, почему так глупо проходит у меня моя любовь. Разве не смешно?

Зашла Нюрка Лукашева, принесла первую часть «Основ электричества» Греца. Собирались сесть вместе заниматься, но обеим что-то не хотелось. Решили выпить. Нюрка принесла бутылку портвейна, мы ее распили, легли с ней на кровать. Я начала ее «поучать». Говорила, что нет любви, а есть половая потребность. Она огорченно смотрела своими наивными голубыми глазами, тяжело было меня слушать, хочется ей другой, «чистой» любви. Я смеялась и говорила: «Какая чушь! Можно ли быть комсомолке такой идеалисткой?»

Вдруг вспомнила, ударила себя по лбу:

– А тезисы-то! Совсем про них забыла!

Села к столу и тут же написала тезисы к завтрашнему докладу.

Следующий вечер. Клубный зал полон парней и девчат, я запоздала на собрание, зачитывали анкеты, кончили и дали мне слово. Полилась речь уверенная и яркая, подводила экономику, материализм и проч., и проч. Направо сидел секретарь и записывал речь, налево председатель пускал иногда одобрительные реплики, внимательно слушает аудитория. Кончился доклад, полились записки. Потом прения. Пройшла ребят, – жаждут они путей новой жизни. А мне в заключительном слове вот что хотелось сказать: «Послушайте, ребята, я ведь это несерьезно, ведь я смеюсь над вами, тезисы пьяная писала; это было очень легко, потому что тут ничего не было моего собственного, я говорила то, что пишут другие. А своих мыслей у меня еще нет, как и у вас. Разорвите протокол, и давайте начнем с начала, давайте собственными мозгами попытаемся поискать путей нового быта».

Хотелось домой идти одной, но пришлось идти с ребятами, и по дороге спорила, что-то доказывала, горячилась. А потом, дома, было на душе очень грустно, и даже немножко поплакала в подушку, когда все в квартире заснуло. Должно быть, чтобы быть великим шарлатаном, нужно иметь в душе великую грусть.

* * *

(Почерк Нинки.) – Здорово, Лелька! У меня начал чесаться язык тоже сделать хорошенький какой-нибудь доклад, например о рациональном отношении к жизни или о том, что комсомолец ни в чем никогда не имеет права ошибаться и обо всем должен думать точно так, как думал Ленин.

* * *

(Почерк Лельки.) – У меня иногда кружится голова, как будто смотришь с крыши восьмизэтажного дома на мостовую. Иногда берет ужас. Нинка, куда мы идем? Ведь зайдем мы туда, откуда не будет выхода. И останется одно – ликвидировать себя.

* * *

(Почерк Нинки.) – Очень возможно. Не знаю, как ты, а, когда я пишу в этом дневнике,

мне кажется, что я пишу свое посмертное письмо, только не знаю, скоро ли покончу с собой. А быть может, и останусь жить, ибо не кончила своих экспериментов над жизнью.

* * *

(Почерк Лельки.) – Знаешь, что? Во всяком случае, раньше нам обязательно еще нужно будет с тобой иметь по ребенку. Это тоже ужасно интересно. Как прижимается к тебе крохотное тельце, как нежные губки сосут тебе грудь. И это испытанием, а тогда убьем себя.

* * *

(Почерк Нинки.) – Да, это тоже очень интересно.

* * *

(Почерк Лельки.) – Мне кажется, комсомол (говорю только о нем, потому что его лучше знаю) идет сейчас по очень узкой дороге – по темному ущелью или по лесной тропе. Без широких далей и без размаха для взгляда. Нет того, что зажигало бы изнутри, от чего бы душа замирала и рвалась вширь, как было с поколением, которое было перед нами, – счастливым поколением гражданской войны и великих дел. Какой-то душевный термидор. Теперь, в сущности, нам говорят: «Исполни добросовестно свое дело, в этом все. Рабочий – работай, крестьянин – паши землю, служащий – служи, учащийся – учись. Только в свободное время обязательно занимайся политграмотой».

В этом роде вчера с насмешкой говорила мама и спрашивала с злыми глазами (тогда она их выкатывает, и они у нее делаются огромные), – спрашивала:

– Какие же вы революционеры? Вы типичнейшие культурники, делатели малых дел.

Я, конечно, возражала очень иронически, а в душе с нею соглашалась, хотя это было неприятно. Нельзя не признаться, что у нас сейчас полоса, когда очень много зажигательных фраз и очень мало зажигательных дел. Десятилетние ребята-пионеры грозно поют:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем!

А весь пожар – в барабанном бое да в красных галстучках. Ха! Хе.

В вузовских ячейках у нас темы для докладов высасываются из пальца – о НОТе, о быте. А яркого проявления жизни организации на собраниях не бывает. Основная работа – политпросветительная. Это то же самое, что оттачивать для боя шашки и чистить винтовки. Очень хорошо и полезно. Но тогда, когда все это

Д-Л-Я Ч-Е-Г-О-Т-О!

Диспуты у нас все больше – о половых проблемах, и молодежь валом на них валит. У нас вот с тобой – личные неудачи в сердечных делах, и мы стараемся пристально не смотреть друг другу в глаза, чтобы не прочесть в них отчаяния. А стоят ли его эти неудачи?

Я думаю, если в ближайшие годы перед нами, комсомольской молодежью, – да и вообще перед партией, – не вспыхнет близко впереди яркая, огнебрызжащая цель, не раздвинется наша узкая дорога в широкий, творческий путь, то мы начнем понемножку загнивать и расползаться по всем суставам.

Ты не думаешь, Нинка, что и все наше шарлатанство, пожалуй, – симптом этого начинающегося загнивания?

* * *

(Почерк Нинки.) – Право, не знаю. Но мне не нравится, что ты этим сводишь все наше шарлатанство на какой-то «симптом». Тогда им совсем неинтересно заниматься. Я на него смотрю серьезнее.

* * *

(Почерк Лельки.) - Ездил с Нинкой за Сокольники, познакомилась с Басей Броннер. Она произвела на меня очень сильное впечатление. Только мне было неловко с ней, почему она ко мне хорошо относится, этого я не понимаю, ведь даже себе я противна. Вот она, - прямой, твердый взгляд, идет по определенному, верному пути... Смешно - в двадцать лет не уметь выработать себе непоколебимых убеждений и твердо стоять на ногах. Когда ехала домой, ужасно хотелось перерезать себе горло, только комсомольская этика мешает, а я уже ярко себе представила это большое, абсолютно тихое «ничего».

Вообще я думаю дать себе срок один год; если в этот год я не стану вполне комсомолкой, то покончу вообще, оставляя надежду исправиться. Теперь или никогда, - это ясно.

* * *

(Почерк Лельки.) - Полно, глупая Лелька, ты взвалила на свои плечи непосильную тяжесть. Не тебе быть великим шарлатаном. Вся душа кричит против. А поэтому я твердо решила повернуть руль в другую сторону и стать действительно борцом за коммунизм, воспитать себя не шарлатанкой, а идейным человеком; для этого нужно не искать новых путей, а идти по указанной дороге, каждый поступок рассматривать с марксистской точки зрения. Много придется поработать над собою, но думаю, что сумею заглушить в себе голос великого шарлатана.

Для чего все это делаю, - почему больше не буду шляться по «неизведанным тропинкам», а пойду бодрым, деловым шагом по пути к коммунизму? Конечно, не интеллигентский альтруизм ведет меня и не классовый инстинкт, - горе мое и мое проклятие, что я не родилась пролетаркой, - ведет просто чувство самосохранения. Раз ноша, которую я взвалила на плечи, слишком тяжела, я беру ношу полегче: ведь от первой ноши так легко надорваться и уйти к предкам.

* * *

(Почерк Лельки.) - Был дождь, кругом лужи, и шумят листьями деревья, я стою и думаю: идти ли к ним, к товарищам, к стойким, светлым коммунистам? Была грусть сильнее, чем когда бы то ни было, хотелось умереть, и думала, что иду прощаться. Все-таки пошла к ним, было хорошо от их привета и участия, однако же губы иногда нервно подергивались.

Когда уходила, они пошли меня провожать до трамвайной остановки. А когда повернулись и пошли домой, крепкие, стойкие, три кожаные курточки, то у меня задержались брови, сжались зубы, я решила: буду идти по тому пути, чтобы стать кожаной курточкой. Это - твердое решение, это - резкий перелом.

Решила сделать на днях одну вещь.

* * *

(Почерк Нинки.) - Сейчас мы с Борисом Ширкуновым завариваем в предметной комиссии очень крутую кашу, - посмотрим, как-то ее расхлебает наша правая профессура! Положение такое. Освободилась кафедра металлургии. Профессура выдвинула кандидатом Красноярова, - крупный ученый, но далекий от общечеловечности и индивидуалист, враг коллективной работы. Наша студфракция наметила Яснопольского; он тоже ученый с именем, хотя и не с таким, конечно, как Краснояров, но главное - общественник, член горсовета, свой парень. Важно добиться его согласия: материально наша кафедра его не устраивает, - в Харькове он много еще зарабатывает в качестве консультанта, поэтому колеблется переезжать в Москву. Ждем окончательного его ответа, а пока всячески волим и дезорганизуем заседания комиссии. Профессора злятся, а я и Борька сидим с невинными лицами и удивляемся: мы-то тут при чем? Объективные причины!

* * *

(Почерк Лельки.) - Сделала что хотела. Отвезла этот дневник и попросила Басю внимательно его прочесть. Сегодня весь вечер мы с ней ходили по лесу и говорили.

Она верно определила все наши писания: интеллигентщина и упадочничество. Очень

резко отзывалась о Нинке: глубочайший анархизм мелкобуржуазного характера, ей не комсомолкой быть и ленинкой, а мистической блоковской девицей с тоскующими глазами. Про меня говорила мягче: споткнулась на ровном месте, о такую ничтожную спичку, как неудачная любовь, но есть в душе здоровый революционный инстинкт, он меня выведет на дорогу. Над всем этим надо подумать.

* * *

(Почерк Нинки.) – Свинья, что без спроса дала Басе наш дневник. Следовало раньше спросить меня. Ну, да наплевать.

Неужели на тебя произвели какое-нибудь впечатление речи Баси? Так просто можно тонкие и сложные переживания охарактеризовать парой самых истрепанных слов! А во мне это только легкую тошноту вызвало, как очень приевшееся кушание. Что ж ты, не знала раньше сама, что это припечатывается словами «упадочничество» и «интеллигентщина»?

* * *

(Из красного дневничка. Почерк Нинки.) – Так сильно когда-то хотелось получить от тебя весточку, Марк, как я нужна тебе. И вот через год передо мной твое письмо, ласковое, дружеское, и слова: «Нина, милая, прости!»

Глупый, за что прощать? За то, что я была странной, порывистой, наивной и самоуверенной девчонкой, за то, что много во мне было нежности, грусти и искания, а ты ко мне подошел для поцелуев, может быть, только для них? Марк, Марк, ведь я от унижения была больна, был испорчен весь год. Марк, за что? И сейчас такая тупость, такая мучительная усталость от людей. И боязнь таких, как ты. Милый, может быть, даже любимый, я скоро тихо и незаметно уйду от жизни, ведь так противно в девятнадцать лет чувствовать усталость. Ну, что же тебе ответить? Я согласна, приезжай за мной в общежитие, мы будем с тобой бродить по переулкам и берегу Москвы-реки и хорошо, просто говорить. Марк, скажи мне, – за что?

Вот уже год, как я не видала тебя, не отвечала на твои письма, целый год я старалась побороть себя, и поборола, правда. Когда я увижу тебя, когда твои губы протянутся для поцелуев, опять в груди у меня начнет что-то трепетать, опять голова закружится, но все это будет происходить в глубине, а внешне я имею настолько сил, что просто протяну тебе руку, и мы будем говорить о твоей жизни, о твоих переживаниях, но ни слова уже не скажем ни обо мне, ни о нашей «любви».

СТРАСТЬ МНЕ НЕ НУЖНА.

Она мне представляется в виде широко открытых глаз, влажных губ и порывистого дыхания. Знай же, твою страсть я презираю, больше никогда не повторится то, что было, я стала другой.

Прощай!

(Я никогда тебя не любила; была ли страсть, – и то можно сомневаться, – была распушенность и любопытство к неизвестному.)

Мне хочется сказать себе: милая Нинка, пошарлатанила, похулиганила, и хватит, – твоя миссия на этом свете кончена. Пора переходить в другой мир, в мир безмолвия и тишины. Все равно я никогда не отделаюсь от шарлатанства и экспериментирования; сколько ни борюсь с собой, всегда люди, отлитые по одной общей форме, будут вызывать во мне тошноту.

(Под этим нарисована широкая и красивая виньетка; видно, рука долго и старательно работала над нею.)

ПРИДИ, Я ЖДУ ТЕБЯ!

17 ноября 1927 г.

1 час ночи.

Не верь, что было сказано раньше.

* * *

Долго ходили по берегу Москвы-реки и по снежным краснопресненским переулкам комсомолка с двумя толстыми косами по плечам и военный с тремя ромбами на лацканах. Военный раздраженно кусал губы.

– Нинка, что с тобой? Как будто ледяная стена между нами, я стучусь и никак не

могу до тебя достучаться. Конечно, я был тогда груб и нечуток. Но неужели ты так злопамятна?

Комсомолка удивленно и невинно подняла брови.

- Почему тебе это так кажется? А я думала, что мы сейчас очень хорошо и задушевно поговорили с тобой.

Военный капризно выдернул руку из-под локтя комсомолки.

- Ну, прощай. Снежная какая-то кукла, а не живой человек. Увидимся еще. Может быть, будешь тогда другая.

Она с равнодушным радушием ответила:

- Ты знаешь, что я всегда тебе рада.

Он в бешенстве закусил губы и пошел прочь.

(Из красного дневничка.) - Думала, что смогу говорить с ним задушевно. Но как только увидела, такое горячее волнение охватило, так жадно и горестно потянуло к нему, так захотелось взять его милые руки и прижать к горящим щекам... Не нужно было нам встречаться.

Это ничего, что много мук
Приносят изломанные и лживые жесты.
В грозы, в бури, в житейскую стынь.
При тяжелых утратах, и когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым -
Самое высшее в мире искусство.

С. Есенин.

* * *

(Общий дневник. Почерк Нинки.) - Вдруг телеграмма из Харькова от профессора Яснопольского: «Согласен выставить свою кандидатуру». К Борису. Быстро выработали план действий. Теперь не зевать, сразу ахнуть выборы и прекратить прием дальнейших заявлений. Собрали студфракцию. Постановлено, обязательна стопроцентная явка на выборы. «Да ведь Левка и Андрей больны!» - «Под их видом пусть другие ребята». - «Да разве можно?» - «А профессора нас всех в лицо знают?» - «Ха-ха-ха-ха! Здорово!»

Настоящая классовая борьба. Наша сила - что мы действуем организованно и все, как один. А профессора идут врозь. Даже не догадались, что всем до одного нужно бы прийти на выборы и дать бой за своего кандидата.

Открывается заседание. Ура! Бесспорнейшее наше большинство, сразу видно; да еще два профессора за нас, «сочувствующие». Те выходят из себя: тянули, тянули, а тут вдруг сейчас же выборы! Я встаю, не дрогнув бровью, заявляю:

- Раньше мешали разного рода объективные причины, теперь их нет, а дело стоит, кафедра пустует. До каких же пор, в угоду товарищам профессорам, мы будем тянуть волынку?

Обсуждение кандидатов. Серьезных только два: ихний, Краснояров, и наш, Яснопольский.

Темка встает и провокационно:

- Краснояров был членом ЦК кадетской партии.

Профессор Дьяченко в бешенстве вскочил:

- Это неправда. Членом ЦК он никогда не был!

- А значит - вообще кадетом был?

- Вообще... Э-э... Я почему знаю!

- А-а-а! А что членом ЦК не был, знаете! И притом, говорят, у него было имение в две тысячи десятин.

Профессора в недоумении пожимают плечами.

- Речь идет о металлургии. При чем тут, был ли он кадетом, и какое у него было имение? Была у него только дачка под Москвой.

Наши загоготали.

- Го-го! Дачка! Здорово!

Провели мы Яснопольского.

После выборов зашла в столовку пообедать. Против меня сел профессор Вертгейм. Спросил стакан чаю, вынул завернутый бутерброд, стал закусывать. Ласково поглядел на меня, заговорил о выборах. Волнуется.

- Зачем такая беспринципность?

Я гляжу дурочкой.

- Какая беспринципность, о чем вы говорите?

- Ведь ясно, вы тянули нарочно, пока не получили согласия Яснопольского.

- Ничего подобного! Объективные причины.

- И потом, для чего это обливание противников грязью? Я понимаю - борьба; вы ее даже считаете политической. Но неужели для нее неизбежны те нечистые средства, к которым прибегаете вы?

- Какие нечистые средства?

- Извините, но ведь в данных условиях говорить о дачках и о кадетстве ученого, - для чего это? Разве этим определяется его пригодность к научной и преподавательской деятельности?

- Ах, вы вот о чем...

Держалась я все время на высоте. Так мы и расстались: он - с полным убеждением, что говорил с твердокаменной комсомолкой, я - с гордостью, что так великолепно провела роль.

* * *

(*Почерк Лельки.*) - Роль? Это только была - роль? А вправду ты что же, согласна с этим профессором?

Нинка! Я давно хотела тебе сказать. Положительно, ты оказываешь на меня разлагающее влияние. Я старше тебя, я чувствую, что умею влиять на людей и организовывать их, но с тобою невольно поддаюсь твоим настроениям и мыслям. Это, в конце концов, даже обидно для моего самолюбия.

Когда общаюсь с тобой, мне хочется шарлатанства, озорства, «свободы мысли». И всею душою я отдыхаю с Басей. Поговоришь с нею, - и как будто воздух кругом становится чистым и свежим. Вообще меня вуз не удовлетворяет. Эх, не наплевать ли мне на все вузы и не уйти ли на производство? Там непосредственно буду соприкасаться с живыми силами пролетариата. Бася меня устроит.

* * *

(*Красный дневничок. Почерк Нинки.*) - Вчера была грусть. Вместо того чтобы пойти на лекцию, ходила в темноте по трамвайным путям и плакала о том, что есть комсомол, партия, рациональная жизнь, материалистический подход к вещам, а я тянусь быть шарлатаном-факиром, который показывает фокусы в убогом дощатом театре.

Я нищая, которая позвякивает медяками в рваном кармане и говорит, что там золото. Ну, не комична ли жизнь? Я изломанный куст, стою и качаюсь от ветра, я су-ма-сшед-ше одинока, кому повею печаль мою? - никому. Пусть лгут глаза, лгут губы, пусть ясная голова на теоретической основе строит свое счастье. А в горячее сердце бьется пепел сожженных переживаний прошлого года. «Пепел стучится в мое сердце». Де-Костер («Тиль Уленшпигель»). Я не отношусь к своей жизни серьезно, я пробую, экспериментирую и рада хоть маленькому кусочку счастья.

Запишу уже и вот что. С Борисом кончилось - увы! - как со всеми. Я думала, он сумеет удержаться на товарищеской высоте. Но, видно, не по силам это парням. Только что завяжешь товарищеские отношения, - лезут целоваться.

Была с ним в театре. Дразнила свою чувственность тем, что прижалась к его щеке своей щекой, он обнял меня, и так стояли мы в глубине темной ложи. Чудак он, - нерешительный, робкий, опыта, должно быть, мало имеет. Может быть, думает, что люблю его. Нет, Боря, уж очень мне жизнь больные уроки преподносила, отдавалась я непосредственно, вся, а взамен получала другое. Ну, а теперь и я испортилась: нет непосредственности, взвешиваю и наблюдаю за собой, а любви нет.

Кто любил, уж тот любить не может.

Кто сгорел, того не подожжешь

С. Есенин.

Глупый, а ты заговорил даже - о женитьбе. Это чепуха, я за тебя не «выйду» (мерзкое слово). Ну, а целоваться иногда можно, но при условии, чтобы ты на это серьезно не

смотрел.

Конкретно: я так много страдала из-за любви, что чувствую необходимость, чтобы за меня тоже страдали, вот выпал жребий на Бориса.

(Общий дневник. Почерк Нинки.) – Месяц прошел, и ни одна из нас не раскрывала этого дневника. Должно быть, он начинает себя изживать, и мы понемножку друг от друга отходим.

Как сильно я изменилась за это время! Хорошо подошла к ребятам в ячейке, и это была не игра, – действительно, и внутри у меня была простота и глубокая серьезность. Нинка, ты ли это со своим шарлатанством и воинствующим индивидуализмом? Нет, не ты, сейчас растет другая, – комсомолка, а прежняя умирает. Я недурно вела комсомольскую работу и чувствую удовлетворенность.

Шла из ячейки и много думала. Да, тяжелые годы и шквал революции сделали из меня совсем приличного человека, я сроднилась с пролетариатом через комсомол и не мыслю себя как одиночку. Меня нет, есть мы: когда думаю о своей судьбе, то сейчас же думаю и о судьбе развития СССР. Рост СССР – мой рост, тяжелые минуты СССР – мои тяжелые минуты. И если мне говорят о каких-нибудь недочетах в лавках, в быту, то я так чувствую, точно это моя вина, что не все у нас хорошо.

Но – я не хочу, чтобы вы видели складку горечи у моих губ, моя гордость запрещает ее показывать. Мои милые товарищи-пролетарии! Все-таки трудно интеллигенту обломать себя, перестроиться, тщательно очиститься от всякой скверны и идти в ногу с лучшими партийцами. Нет-нет, да и споткнусь, а то и упаду, а потом встаю и иду снова. Кто посмеет сказать, что я не двигаюсь? Продолжайте верить в меня как в сильную, трудоспособную ленинку, а вот цену всему этому вы не узнаете.

ОСОБО НЕРВНЫМ ЛЮДЯМ
ВХОД ЗАПРЕЩЕН!

(Почерк Лельки.) – Как все это уже становится далеко от меня! Как будто сон какой-то отлетает от мозга, в душе крепнут решения...

Мой тебе совет, Нинка: наметь себе конкретные задачи, вернее – цели, к которым ты будешь стремиться, – хотя бы в продолжение года. Не старайся быть «великим», будь такою, как все. Я уверена, что ленинский дух в тебе достаточно силен, вылечишься от «детской болезни левизны», и все пойдет «как надоть». Еще одно пожелание: никогда не ищи одиночества, будь всегда среди массы, в среде хороших пролетарских ребят. Порви, если знаешься, с ненашей, беспартийной молодежью. Последнее – полюби хорошего рабочего-пролетария с одного из московских заводов, – и залог победы у тебя.

(Почерк Нинки.) – К-а-к-о-й т-о-н! Милая тетушка, тронута до дна души вашими поучениями.

Скромное примите поздравление,
Тетушка, с днем ангела от нас!

Обязательно постараюсь последовать вашим мудрым советам.

(Почерк Лельки.) – Не умно.

(Почерк Лельки.) - Ну,
РЕШИЛА ОКОНЧАТЕЛЬНО!

Ухожу на производство. С осени поступаю на резиновый завод «Красный витязь», где Бася. Почему я ухожу из вуза? Скажу прямо: бытие определяет сознание. А в постановке нынешнего студенческого «бытия» что-то есть очень ненормальное: даже бывшие рабочие ребята, коренные пролетарии, постепенно перерабатываются в типичнейших интеллигентов. Как-то должны перестроиться вузы, неотрывнее связаться с производством. О себе же я прямо чувствую: если не соприкоснусь с живой пролетарской стихией, если не очутюсь в кипящей гуще здоровой заводской общественности, то совершенно разложусь, погибну в интеллигентском самоковырянии и в порывах к беспринципному, анархическому индивидуализму, который гордо, как Нинка, буду именовать «свободой».

Это - основная причина. А был еще повод. Что ж, не буду скрываться. На съезде встретила с Володькой Черноваловым, обрадовалась ему, не скрывая; после заседания затащила к себе. С болью чувствовала: еще горит в нем пламя ко мне, глаза еще смотрят с лаской и страданием, - но уже не так высоко полыхает пламя, и чувствуется, что освобождается он от меня. И вот, когда я это последнее почувствовала, я вдруг стала робкой, как девочка-подросток. Нужно было именно теперь, чтобы он стал дерзок, предприимчив. Но этого не случилось. Должно быть, слишком больно и горько он помнит о том «подавании», которое я ему когда-то протянула, подставив лоб под прощальный поцелуй... Я опять отъехала куда-то совсем в сторону. Ну так вот: он мне много и с упоением рассказывал о своей работе на Украине, - видимо, весь горит в ней. А потом, мешая ложечкой чай, спросил с серьезной любознательностью, - но я под некую почувствовала легкое пренебрежение, - спросил:

- Ну, а ты что? Все - учишься?

Скоро, Володя, скоро я встречу с тобою твердой и выдержанной ленинкой, достойной стоять в рядах пролетариев, - тогда и говорить мы с тобою начнем иначе, и... и, может быть, опять полюбим друг друга, уж по-настоящему, как равноправные товарищи-партийцы.

(Красный дневничок. Почерк Нинки.) - Буду писать откровенно, как уж не могу писать в общем дневнике. Вот Лелька за несколько месяцев обкорнать себя успела; или она другая натура, или... И сейчас она много играет, в надежде, что вскоре игра уплотнится в жизнь. Лелька обкорнала себя окончательно, я еще не совсем, но в значительной мере становлюсь кучой. Вот я уже не тоскую, «не стремлюсь к дымке все мои мечты», мало шарлатаню, все более и более уважаю «ту» идеологию. Довольна ли я? Нет. Чтоб оставаться с тем взглядом на жизнь, какой у меня есть, нужно быть почти сверхчеловеком, а я только - глупая комсомолка, напрасно ждавшая от людей ответов не таких, какие можно купить за пять копеек в любом книжном киоске. Был один, до сих пор неизменно любимый. Он поманил сладким ответом о праве ищущего человека ошибаться и возникать на собственный манер. Но оказалось, это были безответственно брошенные на ветер слова, а нужны ему были только свежие поцелуи девочки.

Хорошо бы - поплакать, и легче станет. У меня слез нет и не будет. Когда-то был сильный пожар и высушил лужицу до дна, теперь сухо. К черту!

(Общий дневник. Почерк Лельки.) - Как легко стало дышать, как весело стало кругом, как радостно смотрю в синие глаза идущего лета! Окончательно - даешь завод! В августе этого 1928 года я - работница галошного цеха завода «Красный витязь». Прощай, вуз, прощай, интеллигентщина, прощай, самоковыряние, нытье и игра в шарлатанство! Только тебе, Нинка, не говорю «прощай». Тебя я все-таки очень люблю. Некоммунистического во мне теперь осталось только - ты.

(Почерк Нинки.) - Вот уж как! «Некоммунистического»... Что ж, Лелька, исключай меня из партии, оставайся коммунисткой, как ты понимаешь это слово. А я пойду в

дорогу одна, буду тосковать, буду биться головой об стену, но прошибу ее, найду «мой коммунизм». Да, Леля, и я приду к компартии, но приду позже тебя, постучусь в другую дверь, но, право же, буду богаче тебя, я не убью искусственно, как ты, живую мою «душу». Сначала мы шли вместе, я и ты, обе убивали в себе все многое, как ты знаешь это так же хорошо, как я. Во мне много еще шарлатанства, но оно отходит от меня, и я знаю, – я его изживу. Однако, во всяком случае, если я не смогу почему-нибудь идти по своему пути, – знай, Лелька, я убью себя скорей, чем перейду на твой. Он мне чужд, неприятен.

* * *

(Почерк Нинки.) – Август месяц. В жизни Лельки большой перелом, – бросила вуз, поступила на завод.

Да. Вот. У нас с Лелькой появился «идеологический уклон». Они бывают оттого, что человек попал в несоответствующую обстановку, поэтому ему нужно создать другую, более «здоровую» среду. А потом – бытие определяет сознание. Ну, например, у человека появляются взгляды, не соответствующие партийцу, или просто даже настроения. Он, как Лелька, уходит на производство и там получает то, что ему нужно. Как с-м-е-ш-н-о! Неужели жизнь и среда – парикмахеры, которые сидят в разных комнатах, и вот человек, который хочет свою «душу» подстричь известным образом, идет к определенному парикмахеру. «Бриться пожалуйста». Часто бритье бывает с болью, иногда люди наиболее «слабые» не выдерживают и уходят от жизни, ведь «несчастные случаи» так часто бывают.

В чем моя неугасающая боль? В том, что я не получила окраски своей среды, в том, что внешне я, может быть, и подхожу, но не дальше, и не могу я срастись с ними, н-е м-о-г-у. Хочу, сильно хочу, и не могу. И я хожу иногда к парикмахеру, только это меня оскорбляет, иногда просто хочется разразиться безудержным смехом: «Ах, если я по этому вопросу думаю не так, как нужно комсомолке, так ведите скорее к парикмахеру, и я начну думать по-другому».

Эх, найти бы мне великого шарлатана и скептика, разучиться так жгуче тосковать и – заплечный мешок, короткая юбка, курточка, в карманы которой так удобно засовывать руки, и идти по широким путям и нехоженным тропинкам, рассматривать жизнь и людей, а главное – научиться смеяться весело и задорно.

Но этого я никогда не сделаю, все-таки среда в меня кое-что вложила, и вот в этой среде я буду тосковать о свободной и дикой воле, а если уйду шарлатанить, то будет тяжело, что я не строитель жизни, потому что я страстно рвусь строить жизнь. Какой выход? Окончательно обкорнать себя, как Лелька, я не могу. Умереть? Жаль ведь, жизнь так интересна! Уйти в другую среду? Н-и-к-о-г-д-а! Все-таки эта среда – лучшая из лучших. Вот и тяжело мне.

* * *

(Почерк Лельки.) – Если бы я верила во всякие сверхъестественности, то я сказала бы, Нинка, что ты – дьявол. Ты два года с лишним стояла над моим сознанием и искушала его. Но теперь это кончилось. И мне только жалко тебя, что ты мотаешься по нехоженным тропинкам, что можешь смеяться над глубокою материалистичностью положения о «бытии, определяющем сознание». Да, ухожу в производство, чтобы выпрямить сознание и «душу», – чтобы не оставаться такою, как ты.

КОНЕЦ.

Больше мне писать в этом дневнике нечего.

* * *

(Почерк Нинки.) – Мне тоже нечего. Большая полоса жизни твоей и моей кончилась. Для обеих нас начинается новая. Больше трех лет мы были друзьями. Счастливого тебе пути!

* * *

(Почерк Лельки.) – Да, Нинка, и тебе – счастливого, а главное же – хорошего пути!

Эх, а портретов-то наших на первой странице так и не наклеили! Содрать, что ли, с зачетных книжек? Теперь уж, пожалуй, не стоит.

Часть вторая

[1131](#)

Медицинский пункт. За стеклянной стенкой – грохот работающих цехов. Вошли два парня-рабочих: лакировщик Спирька и вальцовщик Юрка. Спирька – крепкий, широкоплечий, у него низкий лоб и очень широкая переносица, ресницы густые и пушистые.

- Доктор, посмотрите ноги у меня. Очень чтой-то нехорошие.

- Что у вас с ногами?

- Просто сказать, как говядина. Очень преют и болят.

- Разуйтесь.

Вонь пошла, как от самого острого сыра. Ступни Спирьки были влажные, сизо-розовые, с полосами черной грязи. Старик доктор взглянул парню в лицо и неожиданно спросил:

- Что это у тебя с бровями? – Приблизил лицо, взгляделся. – Подбрил себе, что ли?

Брови Спирьки были тонко подбриты в стрелку. Он самодовольно ухмыльнулся:

- Культурно.

- Культурно? А ноги в такой грязи держать – тоже культурно? Какое тебе тут лечение! Мой ноги каждый день, держи их в чистоте, все и пройдет. Ну, как самому не стыдно? Куль-тур-но!..

Спирька сконфуженно обувался.

Вошла девушка-галошница в кожаном нагруднике. Она шаталась, как пьяная, прекрасные глаза были полны слез, грудь судорожно дергалась от всхлипывающих вздохов. Доктор улыбнулся.

- Опять, Ратникова, к нам. Ну, ну, ничего!

Лелька Ратникова кусала губы, чтобы не прорваться истерическими рыданиями.

- Ложитесь.

Это было острое отравление бензином новенькой работницы. Широко открыли фрамуги, положили Лельку на кушетку, лекарская помощница расстегнула у девушки бюстгальтер, давала ей нюхать нашатырный спирт.

Парни стояли, прислонившись плечами друг к другу, и смотрели. Доктор сурово спросил:

- Нужно еще что?

Юрка сверкнул улыбкой, обнажившей белые зубы до самых десен.

- Н-нет...

- Ну и идите.

Вздохнули.

- Вот! И отсюда гонят! Куда ни придем, везде выставляют. Пойдем, Спиря!

Парни вышли и, держась под ручку, двинулись среди вагонеток с колодками. Спирька сказал:

- Вот так девчоночка! Ну и ну!

Юрка отозвался:

- Раньше чтой-то не видать было. Надо быть, из новеньких.

- Поглядим, где работает.

Стали расхаживать меж вагонеток, перед дверями врачебного пункта.

Минут через десять Лелька вышла и, понутив голову, медленно пошла к столовке. Парни в отдалении за нею. За столовкой повернула по лестнице вверх и мимо грохочущих конвейеров прошла в угол, где, за длинными столами с номерами на прутьях, недавно поступившие работницы обучались сборке галош.

- Ну да! Новенькая! На номерах еще.

Спирька обогнал девушку, наклонился и близко заглянул в лицо наглыми глазами. Лелька отшатнулась. В полузатемненном сознании отпечаталось круглое лицо с широким носом и с противно красивыми ресницами.

Курносая, со старообразным лицом мастерица укоризненно покачала головой.

- Бесстыдники! Разве это сознательно – так приставать к девушке? А еще комсомольцы называется! Халюганы вы, а не комсомольцы.

Высокий Юрка улыбнулся быстрой своей улыбкой.

- Спасибо за то, что хуже не сказала!

- Вам нужно бы и похуже сказать.

- Ну скажи похуже, – веселей тебе станет.

Парни повернули назад. Спирька сказал значительно:

- Возьмем на замечание. Девочка на ять.

Лелька подошла к своему месту у стола, начала роликом прикатывать на колодке черную стельку, а крупные слезы падали на колодку.

Подошла мастерица Матюхина, шутливо сказала:

- Не плачь над колодкой - брак будет! - И прибавила: - Халюганы, так они и будут халюганы. Не обращай внимания.

Лелька презрительно ответила:

- Стану я об этом! - И, не сдержав отчаяния, вдруг сказала: - Никогда, должно быть, не привыкну к бензину!

- Привыкнешь. Потерпи. Спервоначально всем так кажется. Две недели пройдет - и замечать перестанешь.

Так ей все говорили. Но больше не было сил терпеть. Вторую неделю Лелька работала на заводе «Красный витязь», - обучалась в галошницы. От резинового клея шел сладковатый запах бензина. О, этот бензин! Противно-сладким дурманом он пьянил голову. Сперва становилось весело. Очень смешно почему-то было глядеть, как соседка зубами отдирала тесемку от пачки или кончиком пальца чесала нос. Лелька начинала посмеиваться, смех переходил в неудержимый плач, - и, шатаясь, пряча под носовым платком рыдания, она шла на медпункт дохнуть чистым воздухом и нюхать аммиак. Одежда, белье, волосы - все надолго пропитывалось тошнотным запахом бензина. Голова болела нестерпимо, - как будто железный обруч давил мозг. Приходила домой, - одного только хотелось: спать, спать, - спать все двадцать четыре часа в сутки. А жить совсем не хотелось. Хотелось убить себя. И мысль о самоубийстве приходила все чаще.

Лелька окончила сборку галоши, поставила колодку на шпенек рамки и вдруг почувствовала - опять тяжелый, дурманный смех подступает к горлу. Она пошла прочь.

Пошла по большим залам, где, по два с каждой стороны, гремели работой длинные конвейеры. Здесь тоже шла сборка галош. Но у них, у начинающих, каждая работница собирала всю галошу. За конвейером же сидело по сорок две работницы, и каждая исполняла только одну операцию. Колодка плыла на двигающейся ленте, ее снимала работница, быстро накладывала цветную стельку, задник или шпору, ставила опять на ленту, и колодка плыла дальше. Так, медленно двигаясь, колодка постепенно обрастала одною деталью за другой и минут через двадцать выходила из-под прижимной машины, одетая в цельную, готовую галошу.

Работали с бешеной быстротой. Только что работница кончала одну колодку, уже на ленте подплывала к ней новая колодка. Малейшее промедление - и получался завал. Лелька стояла и смотрела. Перед нею, наклонившись, толстая девушка с рыжими завитками на веснущатой шее обтягивала «рожицею» перед колодки. С каждым разом дивчина отставала все больше, все дальше уходила каждая колодка. Дивчина нервничала.

Лелька воображала себя на ее месте - и сейчас же начинала нервно волноваться: как можно хорошо работать, когда знаешь, - вон она там, плывет и подплывает все ближе твоя колодка, неумолимая в неуклонном своем приближении. Знать, что ты обязательно должна кончить свою операцию во столько-то секунд. Да от этого одного ни за что не кончишь!

Лелька пошла к концу конвейера. Тут работала «на резине» Бася Броннер. У нее была не работа, а одна красота. Размеренно наклонялась чернокудрявая голова в красной косынке, открытые смуглые руки быстро и неторопливо прижимали к кожаному нагруднику колодку, равномерно обтягивали ее резиною, ставили готовую колодку на бегущую ленту, колодка уплывала вправо, - и очень точно, в эту самую секунду, как будто на спокойный вызов Васиной руки, слева подплывала новая колодка. Ах, хорошо! И с тупою болью внутри головы Лелька думала: никогда она не научится так работать! И никогда, никогда не привыкнет к проклятому этому бензину.

Больше не хотелось сумасшедше смеяться, немножко легче стало дышать. Еще раз Лелька поглядела на кипящий шумом и движением конвейер: как хорошо вот так работать, дружно, всем вместе в одной работе! И скучной показалась Лельке работа их, новичков, в уединенном уголке, где каждый работал отдельным одиночкой.

Преодолевая отвращение, подошла к своему месту, тупо уставилась на колодку. Как все противно! А воскресенье еще через четыре дня. Когда же настанут дни, что не будет болеть голова, не будет мутить мозгов этот проклятый бензин, и перестанешь непрерывно думать, что не стоит жить?

Лелька острым ножом обрезывала резину на колодке. Украдкой поглядывала по сторонам. Мастерица стояла спиной, соседки были заняты каждая своей работой. Лелька стиснула зубы - и сильно полоснула себя ножом по пальцу. Кровь струйкой брызнула на колодку. Леля замотала палец носовым платком. Бледная от боли и стыда, медленно пошла на медпункт.

Ребята нынче гуляли. С пяти часов пили в пивной на Сокольничьем проезде, – Спирька, Юрка и еще два заводских парня: Буераков и Слюшкин. Вышли шатаясь. Пошли по бульвару. Кепки на затылках, козырьки в небо. Ни перед кем не сторонились, сталкивали плечами прохожих с пути и как будто не слышали их ругательств. С особым удовольствием толкали хорошо одетых женщин и мужчин в очках, не в рабочих кепках.

Торопливо шла навстречу скромно одетая молодая женщина. Вдруг Спирька быстро наклонился и протянул руку к ее щиколотке. Женщина шарахнулась в сторону. А Спирька старательно поправлял шнурок на своем ботинке, как будто для этого только и наклонился. Парни загоготали.

Нашли, что скучно тут. Поговорили, подумали, решили ехать в Черкизово. Пошли к трамвайной остановке. Народу ждало много. Парни очень громко разговаривали, остряли. Молоденькая девушка, нагнувшись, озабоченно что-то искала глазами на мостовой. Неугомонный Спирька спросил:

– Вы что, гражданочка, невинность потеряли свою? Не старайтесь, все равно уж не найдете.

Юрка дернул его за рукав.

– Да будет тебе!

Подходил переполненный трамвай. Парни побежали навстречу, первые вскочили на ходу. Вагон пошел дальше, никого больше не приняв. Они висели на подножке. Юрка сказал наивным голоском, как маленький мальчик:

– Товарищи, продвиньтесь! Иначе мы можем не сесть!

Наверху засмеялись, немножко потеснились. Парни подобрались выше. Слюшкин крикнул:

– Граждане! Потеснитесь там, в вагоне! Надуйте!

Юрка, тем же голоском наивного мальчика, поправил:

– Не надуйте, а наоборот: выпустите дух!

Спирька возразил:

– В общественном месте неудобно.

И прибавил еще что-то уж совсем неприличное. Женщины сделали безразличные лица и стали глядеть в сторону. Кондукторша сердито сказала:

– Вы это что, гражданин? Довольно совестно вам такие выражения говорить публично. Вы в трамвае. Сами сказали – общественное место. А между прочим – выражаетесь!

Она с замечанием обратилась к Юрке, хотя сказал это не он. Юрка сверкнул улыбкой и ответил:

– Виноват!

– Вот я сейчас остановлю трамвай и позову милиционера, тогда будете знать. Хулиганы!

– Что ж вы, гражданка, ругаетесь? Ведь я вам сказал: «Виноват». Взаправду я вовсе даже не виноват, сказал, только чтоб скандалу не было. А вы ругаетесь.

– Как это вы говорите: «Не виноват»?

– Я говорю: «Виноват»!

– Нет, вы сказали, что не виноваты!

– Я не виноват, верно! А сказал, что виноват!

Все хохотали, и всем стало весело, только кондукторша продолжала негодовать. Юрка вздохнул и сказал:

– Дайте-ка билетик. Надоело без билета ехать. – И прибавил утешающе: – К концу пятилетки мы вам тут в трамвае будочку устроим, вам тогда не так будет беспокойно.

Тогда и кондукторша наконец улыбнулась.

Приехали к Преображенской заставе.

Гуляли по бульвару Большой Черкизовской улицы с недавно посаженными липками. Хулиганили. Опять сшибали в темноте плечами встречных. Не всем прохожим это нравилось. Два раза немножко подрались.

Шли две девицы в юбках до середины бедер, с накрашенными губками. Шли, высокомерно подняв головы, и на лицах их было написано: «Ничего подобного!»

Спирька сказал:

– Барышни, не желаете ли с нами погулять? Советую. Анергичные мальчики!

Девицы еще высокомерно подняли головы.

– По всей вероятности, вы нас принимаете не за оных. Мы с незнакомыми кавалерами не разговариваем.

- А вы разрешите познакомиться! Будем знакомы. Мальчики замечательные! Не пожалеете!

Через пять минут шли все вместе. Каждую девицу держали с обеих сторон под руку два парня и тесно прижимались к ней.

Спирька игриво спрашивал:

- Что, Клавочка, прикрывает у вас этот галстук? Я очень антиресуюсь.

Клава напевала, глядя вперед:

Я разлюбить тебя поклянуся,
Найду другого, тотчас полюблю.

Навстречу шла по бульвару обнявшаяся парочка: девушка в голубой вязаной шапочке с помпоном на макушке и плотный парень с пестрой кепкой на голове.

Юрка гаркнул на девушку:

- Тебя мать на бульвар баловаться отпустила, а ты делом занимаешься?!

И сверкнул своею улыбкою, от которой, что он ни говорил, становилось весело.

Когда они повернули назад, девица в голубой шапочке шла навстречу одна, - шла медленно и поглядывала на Юрку. Юрка подскочил и заговорил.

Долго все сидели на бульварной скамеечке, тесно притиснув девиц. Три девицы между четырех парней. Было темно, и со стороны плохо видно было, что делали с ними парни. Слышался придушенный смех, негодующий девичий шепот, взвизгивания.

Мимо скамейки прошел плотный парень в пестрой кепке. Медленно оглядел всех.

Было уже поздно. Встали. Прощались. Буераков нежно говорил одной из девиц:

- Так в то воскресенье, значит, придете на бульвар? Приходите, буду ждать. Прощайте. Желаю вам всего самого специального!

Опять прошел по дорожке парень в пестрой кепке, с ним еще несколько парней.

Девушка в голубой шапочке обеспокоенно сказала Юрке:

- Вы смотрите, как бы наши парни вас не подстерegli на дороге. Страх не любят, когда ваши заводские гуляют с нами. Хулиганы отчаянные.

Юрка беззаботно ответил:

- А мы боимся! Мы сами хулиганы.

Простились с девицами, пошли Камер-Коллежским Валом к себе в Богородское. Клавочка жила в переулке у Камер-Коллежского Вала, Спирька провожал ее до дому. Он отстал от товарищей и шел, прижимая к себе девицу за талию. Лицо у него было жадное и страшное.

Трое остальных шли по шоссе Камер-Коллежского Вала и пели «По морям». Ветер гнал по сухой земле опавшие листья тополей, ущербный месяц глядел из черных туч с серебряными краями. Вдруг в мозгах у Юрки зазвенело, голова мотнулась в сторону, кепка слетела. Юрка в гневе обернулся. Плотный парень в пестрой кепке второй раз замахивался на него. Юрка отразил удар, но сбоку получил по шее. Черкизовцев было человек семь-восемь. Они окружили заводских ребят. Начался бой.

Но силы были очень уж неравные. Юрка закричал во весь голос:

- Спирька!! На помощь!

От Хромовой улицы донесся голос Спирьки:

- Есть!

Юрка через силу отбивался от двух наседавших на него, когда легким бегом физкультурника из темноты подбежал Спирька и врезался в гущу. Дал в ухо одному, сильным ударом головы в подбородок свалил другого. Четверо было на восьмерых. Спирька крутился и упоенно бил черкизовцев по зубам. Один из них, с залитым кровью лицом, вдруг выхватил из-за брюк финский нож, замахнулся на Спирьку. Спирька бросился под занесенный нож и страшным размахом ударил парня коленкой между ног. Тот завыл и, роняя нож, схватился за низ живота. Спирька быстро поднял финку.

- А-а, собаки! Вы вот как!

И кинулся на них с ножом. Черкизовцы побежали вниз по Богородскому Валу. Заводские гнались следом и били их по шеям.

Воротились к себе в Богородское. Очень захотелось выпить. Но было поздно, и все давно уже было закрыто.

- Ну что ж! К Богобязненному!

С шоссе свернули в переулок. Четырехкоконный домик с палисадником. Ворота были заперты. Перелезли через ворота. Долго стучались в дверь и окна. Слышали, как в темноте дома кто-то ходил, что-то передвигал. Наконец вышел старик в валенках, с иконописным ликом, очень испуганным. Разозлился, долго ругал парней за испуг. За двойную против дневной цену отпустил две поллитровки горькой и строго наказал ночью

вперед не приходите.

Уселись на улице на первую подвернувшуюся скамейку у ворот. Распили бутылочки. Сильно опьянели. Слюшкин и Буераков пошли домой. А Спирька и Юрка, обнявшись, долго еще бродили по лесу за аптекой. Шли шатаясь, держали в зубах папиросы и сыпали огонь на пальто. Спирька говорил:

- Юра! Знаешь ли ты инстинкт моей души? Меня никто не понимает, на всем свете. Можно ли меня понять? Невозможно!

- Спиря! Я п-о-н-и-м-а-ю.

- Юрка, друг! Нам с тобой на гражданских фронтах нужно бы сражаться, вот там мы с тобой показали бы, что за штука такая ленинский комсомол. Тогда винтовкой комсомол работал, а не языком трепал. Вот скажи мне сейчас Ленин али там какой другой наш вождь: «Товарищ Спиридон Кочерыгин! Видишь - сто белогвардейцев с пулеметами? Пойдешь на них один?» Пошел бы! И всю бы эту нечисть расколошматил. И получил бы боевой орден Красного Знамени. Мы с тобой, Юра, категорические герои!

Юрка в ответ вздохнул.

- Да, поздно мы родились на свет. Нужно нам было с тобою понатужиться, родиться лет на десять раньше. Были бы мы тогда с тобою в буденновской кавалерии.

- Правильно! Я тебе, друг, по совести скажу: инстинкт моей души говорит мне, что был бы из меня герой вроде Семена Буденного.

* * *

Лелька очень мучилась позорностью своего поступка. И все-таки из души перла весенне-свежая радость. Как хорошо! Как хорошо! Бюллетень выдали на три дня. Да потом еще воскресенье. Четыре дня не дышать бензином! Не носить везде с собою этого мерзостно-сладкого запаха, не чувствовать раскалывающей голову боли, не задумываться о смерти. Как хорошо!

Но позорное дезертирство с трудового фронта нельзя было оставить без наказания. Лелька сама себя оштрафовала в десятикратном размере суммы, которую должна была получить из страхкассы за прогульные дни: предстояло получить около семи с полтиной, - значит, - семьдесят пять рублей штрафа. Отдать их в комсомольскую ячейку на культурные нужды.

Отдать решила как можно скорее. Поэтому сократила себя во всем. Утром пила чай вприкуску, без молока, с черным хлебом. Обедала одним борщом. Было голодно, но на душе - легко.

* * *

Лелька пошла утром в бюро комсомольской ячейки. Уже вторую неделю она никак не могла добиться себе какой-нибудь нагрузки. Секретарь посылал к орграспреду, орграспред - к секретарю.

Пришла. В ячейке было еще пусто. Секретарь общезаводской ячейки Дорофеев, большой и рыхлый парень, сердито спорил с секретарем ячейки вальцовочного цеха Гришей Камышовым. Этот был худой, с узким лицом и ясными, чуть насмешливыми глазами. Говорил он четко и властно. И говорил вот что:

- Работа в нашей ячейке - ни к черту не годная. Ты только речи говоришь да резолюции проводишь, а все у нас идет самотеком. Ребята такие, что мы только компрометируем ленинский комсомол. Членских взносов не платят по два, по три года, девчата только о шелковых чулках думают, губы себе мажут, ребята хулиганят. Кто самые первые хулиганы на все Богородское? Спирька Кочерыгин да Юрка Васин, - наши ребята. Надо таких всех пожестче брать в оборот. Не поддадутся - вон гнать.

- Бро-ось! Что мы будем рабочих парней исключать? Нужно воспитывать.

- Так будем воспитывать, в чем дело? А ты ни о чем не думаешь, ничего не делаешь. Ни к черту ты не годный секретарь!

- Тебя на мое место посадить, все бы пошло чудесно! - Дорофеев сердито стал закуривать папироску. Взглянул на Лельку. Стараясь скрыть волнение, спросил: - Ты ко мне?

- К тебе. Все с тем же. Когда мне нагрузку дашь?

- Да ведь вот... Ты орграспреду говорила, Соколовой?

- Говорила. Ты к ней посылаешь, она - к тебе.

Камышов торжествующе сказал:

- Вот видишь! Что? Дивчина работать хочет, а у нас все так хорошо, что и припустить

ее не к чему! – Он ласково взглянул на Лельку. – Ты не из вуза к нам в работницы поступила? Не про тебя мне Баська Броннер говорила?

– Видно, про меня.

– Ну, в чем же дело? Дивчина с образованием, нам такие нужны. Погоди-ка, Дорофеев. Кружок текущей политики – Царапкин у нас вел? Соколова мне говорила, что ему какая-то другая нагрузка выходит.

– Да, да, – вяло вспомнил Дорофеев. – Ведь верно. Кружок текущей политики сможешь вести? – спросил он Лельку.

В душе Лелька испугалась: ну как не сможет? Но храбро ответила:

– Смогу.

– Так вот, как же нам это сделать? – Дорофеев потер переносицу. – Наверно, не сегодня, так завтра Царапкин сюда зайдет, в ячейку. А то лучше пойдись сама, отыщи его в цехе. Он в верхней лакировке работает.

Камышов опять вмешался.

– Погоди, все проще можно сделать. Сегодня Царапкин как раз делает доклад в галошной ячейке. О текущем моменте. Там с ним и столкнешься. Собираются в клубе пионеров.

Лелька пожалела, что ответственный секретарь – Дорофеев, а не Камышов. С этим можно бы дело делать.

Дорофеев и Камышов ушли. Лелька сидела на окне и болтала ногами. Шурка Щуров, технический секретарь ячейки, высунув из левого угла губ кончик языка, переписывал протоколы. Лелька переговаривалась с ним.

Вбежала Зина Хуторецкая, галошница, – худая и некрасивая, с болезненно-коричневым лицом. Шурка протянул:

– А-а, Зина-на-резине!

Она спросила:

– Стаканчика нельзя раздобыться у вас, воды выпить?

Положила на стол потертый портмоне, носовой платок и пропуск на завод в красной обложке. Шурка, не отрываясь от писания, проговорил:

Стаканчики граненые упали со стола.

Зина подхватила, смеясь:

Упали и разбились...

Стала наливать из графина воду. Шурка взял ее портмоне и спокойно положил себе в карман.

– Это еще что! Отдай!

– Не отдам.

Зина стала отнимать. Поднялась возня. Отняла. Шурка крутил ей руки. Она говорила радостно-негодующим голосом:

– Катись от меня, слышь!

– Отдай мой кошелек!.. Зинка! Не сопротивляйся!

– Это мой! Что ты врешь!

Выкатились в коридор, там слышны стали визги и блаженный смех Зины. Шурка воротился задыхающийся, сел опять за переписку. Вошла назад Зина, открытые до локтя руки были выше запястий натертые, красные. Шурка пошел к желтому шкафу взять бумаги. Зина поспешно села на его стул. Он подошел сзади, взял за талию и ссадил. Зина воскликнула:

– Так и знала, что сгонит!

Шурка раскрыл пропуск, взглянул на ее фотографию, покачал головою.

– Ну и рожа!

– На всех чертей похожа? – засмеялась Зина.

Заревел обеденный гудок. Комната стала заполняться девушками и парнями, забежавшими в ячейку по комсомольским своим делам или просто поболтать. Шутки, смех.

– А-а! Гора с горой! Колхоз приехала!

– Эй, татарский пролетариат! Подпишись на «Комсомольскую правду».

– Не могу. Сейчас у меня кризис. Я полтинника два дня искал по всему заводу.

– Ой, скорей воззвание нужно писать. Я в цехе еще сегодня не была.

– Забюрократилась?

- Не говори!

Лелька сидела на окне, болтая ногами, разговаривала со знакомыми, заговаривала с незнакомыми, а в душе горделиво пелось: вокруг - самые настоящие работницы и рабочие, и среди них - она, р-а-б-о-т-н-и-ц-а г-а-л-о-ш-н-о-г-о ц-е-х-а Елена Ратникова.

Вошли Спирька и Юрка. У Спирьки была опухшая, рассеченная верхняя губа, а у Юрки правый глаз заплыл кроваво-синим наливом. Девчата спрашивали:

- Что это с вами?

- По-склиз-ну-лись...

Все хохотали. Шурка Щуров сказал, смеясь:

- Спирька на той неделе говорил: «Чтой-то сегодня как скучно, - ни от кого даже по роже не получил!» Теперь веселее стало, ха-ха?

Спирька презрительно повел глазами.

- По роже я не люблю получать. Больше люблю давать.

Лиза Бровкина, секретарь галошной цехячейки, строго сказала:

- Не комсомольское это дело, ребята, - хулиганить.

Юрка улыбнулся быстрой своей улыбкой.

- А ты почему знаешь, что мы хулиганили? Может, на нас напали, а мы оборонялись? А не хулиганили.

- Без дела не нападут. Гуляете, буяните. Только везде о вас и разговор.

Спирька спросил неохотно:

- А что делать? В клубе сидеть, картинки смотреть в «Огоньке»? Скучно.

Юрка поддержал:

- Конечно, скучно.

- Собрания посещай, - поучающе сказала Лиза.

Спирька усмехнулся.

- Напосещались. Надоели хуже поповой обедни.

Лелька с презрением оглядела его.

- Вот не думала, что в комсомоле могут еще встречаться подобные типы! - Она знала противно-красивые, пушистые ресницы Спирьки и широкую его переносицу, вспомнила, как наглые эти глаза близко заглянули ей тогда в лицо. Сердце вспыхнуло ненавистью.

Юрка быстро повернулся к Лельке, сверкнул улыбкой.

- Ну да! Скучно! Разве неправда? Говорим-говорим; резолюции всякие. Уж как надоело... Эх-ма! То ли дело было десять лет назад! Вот тогда жили люди!

Лиза Бровкина строго сказала:

- Авантюризм.

- Нет, что ни говори, а поздно мы родились, не успели на фронта.

Лелька спросила насмешливо:

- Храбрость показать свою?

- Ну да! И показали бы. Думаешь, струсил бы с ним? - Он ударил Спирьку по плечу.

- Нет, отчего же! Хитрость тут небольшая. И бандиты-налетчики храбры, и белогвардейцы были храбрые. Почитай про колониальные завоевания, как, например, Кортес завоевал Мексику, - разбойники форменные, а до чего были храбры! Этим нынче никого не удивишь. А мы по старинке все продолжаем самое большое геройство видеть в храбрости. Пора это бросить. Терпеть не могу храбрости!

Все молчали и с удивлением на нее смотрели. По губам Лельки бегала озорная усмешка. И ей приятно было устремившееся на нее общее внимание.

Юрка сказал:

- Ого! Чего ж ты любишь?

- Бывает, воротится герой с подвигов своих, и оказывается: ни к чертям он больше ни на что не годен. Работать не любит, выпить первый мастер. Рад при случае взятку взять. Жену бьет. К женщине отношение такое, что в лицо тебе заглянет - так бы и дала ему в рожу его... широконосию! - неожиданно прибавила она с озлоблением, поведя взглядом на Спирьку.

Спирька покраснел и отвернулся.

Шурка Щуров враждебно спросил:

- Все герои такие?

- Дурак какой! Я вовсе этого не говорю. А говорю: самый великолепный герой может оказаться таким. А для нас выше храбреца и нет никого, его мы больше всех уважаем. Пора с этим кончить. И другие есть, которых нужно гораздо больше уважать.

Юрка с интересом спросил:

- Кто такие?

- Вот кто. Кто любит и умеет трудиться, кто понимает, что в труде своем он строит

самый настоящий социализм, кто весь живет в общественной работе, кто по-товарищески строит свои отношения к женщине. Кто с революционным пылом расшибает не какие-нибудь там белые банды, а все старые устои нравственности, быта. Нет, это все нам скучно! А будь он круглый болван, которому даже «Огонек» трудно осилить, – если он мчится на коне и машет шашкой, то вот он! Любуйтесь все на него!

Гриша Камышов, вошедший в комнату, с ласковой улыбкой пожал сзади руку Лельки выше локтя и весело сказал:

– Вот это – да! Это я понимаю! Тебя у нас агитпропом нужно сделать!

Заревел гудок. Помещение ячейки опустело. Спирька и Юрка работали в ночной смене, торопиться им было некуда. Юрка подсел к Лельке и горячо с нею заговорил. Подсел и Спирька. Молчал и со скрытою усмешкою слушал. Ему бойкая эта девчонка очень нравилась, но он перед нею терялся, не знал, как подступиться. И чувствовал, что, как он ей тогда заглянул в глаза, это отшибло для него всякую возможность успеха. К таким девчонкам не такой нужен подход. Но какой, – Спирька не знал.

А Лелька сурово обегала его взглядом и говорила только с Юркой.

Юрка встал, улыбнулся.

– Ну ладно, похожу в кружок, послушаю тебя.

Спирька откашлялся, спросил смиренно:

– А мне можно?

Лелька ответила, не глядя:

– Никому не запрещается. Может всякий, кто хочет.

* * *

На доклад Царапкина Лелька запоздала, – попала сначала в пионерский клуб соседнего кожзавода. Пришла к самому концу доклада. Узкая комната во втором этаже бывшей купеческой дачи, облупившаяся голландская печка. На скамейках человек тридцать, – больше девчат. Председательствовала Лиза Бровкина, секретарь одной из галошных ячеек.

У Царапкина были пушистые пепельные волосы и черные брови; это было бы красиво, но вид портили прыщи на лице. Говорил он гладко и уверенно. Однако Лелька, послушав его пять минут, совсем успокоилась, и не стало страшно принять от него кружок.

Кончил. Бережно провел рукой по пушистым волосам. Лельку удивило. Он был одет не по-комсомольски щеголевато: пиджачок, крахмальный воротничок. Галстук был кричаще-яркий. Лиза Бровкина встала и спросила:

– У кого есть вопросы?

Все молчали.

– Ну? Товарищи! Неужели ни у кого никаких мыслей и вопросов не родилось от доклада?

Лельке нравилась Лиза. У нее было совершенно демократическое, пролетарское лицо, очень миловидное, хотя угловатое и курносое. Вот уж сразу видно, что в ней ни капли нет какой-нибудь аристократической крови. И видно было: она изо всех сил следит, чтобы быть идеологически выдержанной, чтобы не уронить своего звания секретаря.

Лиза улыбалась и оглядывала всех.

– Кто, девчата, имеет слово? Кто смелее всех? Кириллова, решишь!

Кириллова замахала руками.

– Ну, что я!

Зина Хуторецкая, растерянно смеясь, спросила:

– Можно сказать два слова?

– Можно пять.

– Хочу спросить докладчика, что такое значит слово «оппортунизм».

Лиза Бровкина обрадовалась.

– Ну вот! Вот и хорошо!

Вася Царапкин провел рукою по волосам и толково объяснил. Потом задал еще вопрос невысокий парень в очень большой кепке с квадратным козырьком, рамочник Ромка:

– Вот ты говоришь: Бухарин и некоторые другие личности. Теперь эти личности правого уклона, – как они, раскаялись? Отказываются от своей паники?

Царапкин ответил. Больше вопросов не было, как ни вызывала Лиза. Девчата мялись и молчали.

У Лизы стало строгое лицо. Она встала и сказала.

- Предлагаю резолюцию.

В резолюции говорилось, что комсомольская ячейка галошного цеха одобряет взятый партией курс на усиленную индустриализацию и коллективизацию страны и требует применения самых жестких мер в отношении к правооппортунистическим примиренцам и паникерам.

Лиза спросила:

- Будут дополнения?

- Чего там! И так хорошо.

- Кто за резолюцию, поднимите руки. Кто - против? Кто воздержался? Принято единогласно.

По окончании заседания Лелька подошла к Царапкину.

- Ты - Царапкин?

Он почему-то передернулся при этом вопросе и с неудовольствием ответил.

- Скажем, Царапкин. Что дальше?

- Мне ячейка передает кружок, который ты ведешь.

- А-а! - обрадовался Царапкин.

Сговорились, что она придет в клуб во вторник, и он передаст ей свой кружок.

С собрания Лелька шла с Лизой Бровкиной. Лелька с огорчением говорила:

- Ой, как у нас плохо с девчатами! Робкие какие, - мнутя, молчат. Большую нужно работу развернуть. И не с докладами. Доклады что, - скука! Всего больше пользы дают вопросы и прения. А они боятся. Ты больно скоро перестала их тянуть, нужно было подольше приставать, пока не раскачаются. Знаешь, что? Давай так будем делать. Я нарочно стану задавать разные вопросы, как будто сама не понимаю. Один задам, другой, третий. И буду стараться втягивать девчат.

Лиза в восхищении вскричала:

- Вот это бы было здорово! - Вздохнула и прибавила: - Помогай мне, Лелька! Очень уж мне трудно. Секретарь наш - рохля, от него никакой помощи.

Они долго ходили взад и вперед вдоль завода, от Яузского моста до Миллионной, держались рука за руку. Лиза рассказывала, как ей трудно, какие отсталые девчата - галошницы. Потом еще ближе разговорились, совсем по душам. Лелька рассказывала Лизе, как постепенно впала в разложение, как из-за этого ушла из вуза на производство. Лиза жаловалась на свою необразованность, как ей приходится одновременно и работать, и руководить ячейкой, и самой учиться, и как боится она, чтоб в чем-нибудь не сказалось, что она думает не так, как надо. И прибавила с довольной улыбкой:

- Очень ты нынче хорошо в ячейке накрутила хвост нашим хулиганам!

Лелька шла домой с веселым шумом в голове. Один корешок за другим она начинает запускать в гущу пролетарской жизни. Эх, как хорошо и интересно!

* * *

Лелька нанимала комнату неподалеку от завода, у рабочего мелового цеха Буеракова. По краю соснового леса была проложена новая улица, на ней в ранжир стояли стандартные домики-коттеджи, белые и веселые, по четыре квартиры в каждом. Домики эти были построены специально для рабочих. Буераков с семьей занимал квартиру в три комнаты, и вот одну из них, с большим итальянским окном, сдал за двадцать пять рублей Лельке. Вся семья, - Буераков, его жена, взрослый парень-сын и двое подростков, - все спали в маленькой задней комнате, на кроватях, на сундуках, на тюфяках, расстеленных на полу. Девушка-домработница спала в кухне. Большая же средняя комната была парадная; здесь стоял хороший ореховый буфет, блестел никелированный самовар, в середине большой стол обеденный, венские стулья вдоль стен. Здесь ели и пили только в торжественных случаях. Обычно это делали на кухне. Было совершенно непонятно, что делать еще с третьей комнатой, и ее сдали Лельке.

Сейчас все сидели в большой комнате за блестящим самоваром. Были гости. Шумно разговаривали, смеялись и выпивали.

Только что Лелька прошла к себе, как Буераков постучался к ней в дверь. Вошел.

- Здравствуйте, товарищ Ратникова. Не зайдете ли ко мне выпить чашечку чаю?

И выжидающе-самолюбиво уставился на нее острыми, глубоко сидящими глазками.

- Что это у вас, торжество какое?

- Так, знаете... Рождение мое. Конечно, это все одно, когда родился, а нужно времем и повеселиться. Больше по этой причине. И все-таки - рождение. Не то чтобы там какой-нибудь глупый ангел, которого не существует.

Лелька пошла. У сына Буеракова была забинтована голова марлей (это он со Спирькой и Юркой подвизался вчера в Черкизове). Лелька выпила рюмку водки, стала есть. Буераков острыми глазками наблюдающе выщупывал ее. И вдруг сказал:

- Как вы скажете, товарищ? Желая вам предложить один вопросец. Разрешите?

- Пожалуйста.

- Вот какой вам будет вопрос. Коммунизм, - идет ли он супротив советской власти, или нет?

- Какой вздор! Не только не идет против...

- А я вот говорю: идет против.

- Как это?

- Вот так.

- Ну, именно? Объясните.

- Вот именно! Позвоните в ГПУ, велите меня арестовать, а я заявляю категорически: коммунизм идет против советской власти!

- Не понимаю вас.

- Не понимаете? Подумайте вкратце.

- Ну уж говорите.

- Во-от! - Он помолчал. - Как вы скажете, когда коммунизм придет, уничтожит он советскую власть или оставит?

- Вот вы о чем! Конечно, тогда вообще никакого государства уже не будет.

- А-а, вот видите!.. Х-ха! Я всегда верно скажу!

Лелька спросила:

- Вы партийный?

Буераков кашлянул и сурово нахмурил брови.

- Был партийный. Но! Теперь нет. Пострадал за свою замечательную ненависть к религии.

Лелька улыбнулась.

- За это у нас нельзя пострадать. Как же это случилось?

- А так.

- Ну, ну - как?

- Вот именно, - так.

Но не стал рассказывать. Разговоры становились шумнее. Буераков-сын с забинтованной головой подсел к Лельке и пытался завести кавалерский разговор.

Пришла Дарья Андреевна, жена Буеракова. Портфель в руках, усталое лицо. Буераков взглянул сердитыми глазами и стремительно отвернулся. Она усмехнулась про себя. Поздоровалась с гостями, села есть.

Гости расспрашивали, чего запоздала, где сейчас была. Дарья Андреевна неохотно ответила, что делала общественную работу.

Буераков хмыкнул.

- Общественная работа, а, между прочим, мужу - рождение. И жены даже для такого случая нет дома! Х-хе! Называется - общественная работа, ничего не поделаешь!

Вошла женщина с очень толстой шеей, выпученными глазами и огромным бюстом. Неприятное лицо. Ей навстречу радостно пошла Дарья Андреевна. Усадила пить чай.

Толстая спросила вполголоса:

- Ходила к Картавовой на обследование?

- Ходила. Сейчас только пришла. Все так и есть, как она заявила. Живет с ребенком в коридоре, квартирная съемщица над ее постелью сушит белье. Я говорю: «Как же вы это так?» - «У меня, говорит, ребенок». - «У вас ребенок? А у нее щененок?»

Толстая сказала:

- Завтра пойдем вместе с тобою в Руни^[14]. Ты утром свободна?

Старик Буераков ядовито поглядывал на них.

- Товарищ Ногаева! У меня есть к вам один вопросец. Может быть, вы мне вкратце ответите. Вы вот все ей толкуете: женщина, общественная работа... Нешто это называется общественная работа, когда дома непорядок, за ребятами приглядеть некому, растут они шарлатанами, а ее дома никогда нету? Вот, мужу ее рождение, и то - когда пришла! Это что? Общественная работа?

Женщина с толстой шеей спокойно ответила:

- Мещанство разводишь, товарищ Буераков. А еще в партии состоял. Жена из дому уходит, - подумаешь! А ты - дома. Вот и посиди заместо ее, пригляди за ребятами. Новое, брат, дело. Ты по-старому брось глядеть.

Голос у нее был очень уверенный, идущий из души. Она вдруг понравилась Лельке. Буераков разозлился, стал нападать на женщин, говорить о развале семьи. Только мужу и остается, что уходить.

- Ну и уходи. Другого не найдет? Сколько вас угодно, только выбирай.
- Да-а, уж вы теперь... «выбираете»! Через каждый месяц!
- Это не ваше дело.
- Как - не наше дело? Срамотитесь с мужчинами, а мужу твоему не будет дела?
- Не будет никакого. На той неделе засиделся у меня товарищ по общественному делу до поздней ночи. Полетели по коридору сплётки: с мужчинами ночует! А я им только смеюсь: «Это касается меня одной, если бы я даже оставалась с мужчиною на половой почве. Это даже мужа моего не касается».

Лелька легла спать с рядом новых, больших ощущений.

* * *

Про хозяев своих Лелька узнала вот что.

Жили они себе, как все. И муж и жена работали на заводе. Придя с работы, жена стояла над примусом, бегала по очередям, слушала ворчания мужа за поздний обед, по воскресеньям стирала с домработницей белье. И вот наметилась на нее женорганизатор из ячейки, товарищ Ногаева. Беседовала с нею на работе, приходила на дом и сидела с нею за примусом. И не ждал товарищ Буераков, какой она ему готовила сюрприз. Вдруг выбрали его жену женделегаткой. Дарья Андреевна испугалась, уверяла, что неспособна, но на это не посмотрели. Сначала боялась, волновалась, постепенно втянулась. И увидела она, что есть широкая, деятельная жизнь не за примусами и корытами. Дома все пошло вверх дном. Товарищ Буераков скандалил, что нет надзора за домработницей, что ни с кого он ничего не может спросить, что жена и к обеду даже не приходит. А где ей было приходиться? Работала она в жилищной комиссии, - осматривала жилища рабочих, следила за распределением комнат. Утром поест наскоро и - на работу в мазильную. В обеденный перерыв принимает народ в завкоме, вечером - на обследовании, и приходит домой в одиннадцать-двенадцать часов ночи. Как хватало сил выдержать такую жизнь! Дарья Андреевна осунулась, побледнела, но прежде вялые глаза стали живые, быстрые, голос сделался уверенным. Неподвижный серый гроб раскалывался, и из него выходил живой человек.

А насчет самого Буеракова оказалось верно: вылетел из партии, как и сказал, за свою замечательную ненависть к религии. Дело было так. Пригласил он к себе на квартиру весь клир окрестить ребенка. Пришел священник, принесли купель. «Где же ребенок?» - «А вот, батюшка, сюда пожалуйста. Не один, а пятеро». И подвел его к кошелке со щенятами. Священник пожаловался в ячейку. И вот - Буеракова - за это - исключили из партии! Совершенно казалось невероятным, но - да, исключили! Это была самая большая боль в жизни Буеракова. Так он и не мог понять, за что с ним так поступили. И в душе он все это ощущал, что как бы не партия его исключила, а он, со скорбью и горечью, исключил из своего сердца не оценившую его партию. Однако председателем заводской ячейки воинствующих безбожников он остался. Иногда что-нибудь сморозит. Вдруг заявит: «Папа, сволочь этакая, был у нас лишенцем, а как выслали его из Союза, то теперь проповедует против нас крестовый поход». Поговаривали, что следовало бы его снять, но слишком мало было на заводе людей, а ненависть его к религии была, правда, очень велика.

В общем, был он старикашка вздорный и кляузный, полный личной и классовой самовлюбленности. Везде он скандалил, отстаивая свои права и достоинство.

Придет в заводский универмаг. На огромном блюде копченые сомы и карточка: «1 кило - 1 р. 25 к.»

- Отрежьте-ка мне двести граммов.

- Двести граммов нельзя, продается только целыми рыбами.

Товарищ Буераков грозно глядит:

- Как это так - целыми рыбами? На кой мне черт целая рыба, я объежусь, в ней три кило, вопрос исчерпан, режь двести граммов.

- Не могу, гражданин.

- Что-о? Вы знаете, с кем вы разговариваете? Я рабочий!

- Это все равно.

- Как - все равно? Вам все равно, что рабочий, что какой-нибудь буржуй или поп? Вы издеваетесь над рабочим покупателем!

Голос его зычно звучит по всему магазину, собирается народ. Буераков объясняется с заведующим отделением, потом с заведующим магазином, опять слышится: «Да вы понимаете, с кем вы разговариваете? Я - рабочий! Поняли вы это дело?»

И он уже сидит за жалобной книгой и строчит пространнейшую жалобу, в которой

решительно ничего невозможно понять.

* * *

Лелька была ловкая на руки. Не так страшно оказалось и не так трудно работать на конвейере. Она скоро обучилась всем нехитрым операциям сборки галоши. Ее сняли с «номеров» и посадили на конвейер начинающих. На бордюры. Из чувства спорта, из желания достигнуть совершенства Лелька все силы вкладывала в работу. Скоро она обогнала соработниц в быстроте исполнения своей операции. Торжествующе сложив руки на кожаном нагруднике, Лелька ждала, пока к ней подплывет на ленте следующая колодка.

Вскоре ее перевели на обычный конвейер. Здесь Лельку сначала нервировала мысль о неуклонно подползающей на ленте колодке, но вскоре страх исчез, как у кровельщика исчезает страх перед высотой. Создалась автоматичность работы, – самое сладкое в ней, когда руки сами уверенно делают всю работу, не нуждаясь в контроле сознания.

К бензину Лелька до некоторой меры привыкла, да и было его тут, в воздухе вокруг конвейера, раза в два-три меньше, – тут банка с резиновым клеем не стояла перед каждой работницей. Противно-сладкий запах бензина по-прежнему неотгонимо стоял в волосах и белье, но он воспринимался не с таким уже отвращением. О, Лелька знала: тяжелы последствия хронического вдыхания бензина. Уже через два-три года работы исчезал самый яркий румянец со щек девушек, все было раздражительно и нервны, в тридцать лет начинали походить на старух. Но об этом сейчас не думалось, как не думается человеку о неизбежной смерти. Лелька была в упоении от тех новых чувств, которые она переживала в конвейерной работе.

Не было ощущения одиночества и отделенности, какое она переживала, когда работала на «номерах». Тут была большая, общая жизнь, бурно кипевшая и целиком втягивавшая в себя. Все было неразрывно связано друг с другом. Начинала одна как-нибудь работница работать медленнее, – и весь конвейер дальше начинал давать перебои. Заминка на одном конце отдавалась заминкой на другом. Одна общая жизнь сосредоточенно билась во всем конвейере и властно требовала отдачи себе всего внимания, всех сил. Сладко было отдавать этой общей жизни силы и внимание, и безумно-сладко было ощущать тесное свое слияние с этой жизнью.

И вот еще что заметила в себе Лелька. Какая-то внутренняя организованность вырабатывалась от конвейерной работы. Все движения – быстрые, точные и размеренные, ни одного движения лишнего. Исчезала из тела всякая расхлябанность и вялость, мускулы как будто превращались в стальные пружины.

Однажды утром Лелька убирала у себя комнату – подметала, вытирала пыль, чистила щеткою пальто. И вдруг радостно ощутила и тут во всем – ту же приобретенную ею быструю и размеренную точность всех движений.

* * *

Юрка и Спирька стали ходить на занятия в кружок текущей политики, который вела Лелька. Юрка слушал с одушевлением. Спирька всегда садился в отдалении, слушал боком. Ему и совестно было учиться чему-нибудь у девчонки, и обидно было, что не может здесь первенствовать и держаться соколом. Да и мало, в сущности, было интересно, о чем рассказывала Лелька, особенно, когда начиналось: «империализм», «стабилизация капитализма», «экономическая блокада». Но его бешено тянуло к Лельке, и он не знал, как к ней подступиться.

Лелька видела его влюбленные глаза, ей было смешно. Но все приятнее становилось злорадное ощущение власти над этим широко-косым наглецом с пушистыми ресницами и странно узкими черными бровями в стрелку. Она не могла забыть, как он тогда заглянул ей в глаза.

А Спирька старался вовсю. Завел себе новый, ярко-зеленый джемпер. И вот однажды явился на занятия: гривка волос тремя изящными волнами была пущена на лоб. Специально для этого Спирька зашел в парикмахерскую. Называется «ондулясьон».

Кончился час. Все поднялись. Вдруг веселая рука взъерошила сзади хитрую Спирькину прическу, вся она пошла к черту. Спирька в гневе вскочил и обернулся. Перед ним, хохоча, стояла Лелька.

– Что это, Кочерыгин? Что за уродство ты напустил себе на лоб?

Он спросил испуганно:

– А что? Некультурно?

Лелька зло смеющимися глазами вглядывалась в его лицо.

- Погоди, погоди... А это что? Я все дивилась, почему у тебя такие узкие и красивые брови. А оказывается... Ха-ха-ха!.. Они у тебя - п-о-д-б-р-и-т-ы!

Все девчата и парни хохотали. У Спирьки гневно разгорались глаза, и он возражал с самолюбивою развязностью:

- Э! Это ничего не составляет!

Ребята из Лелькина кружка уходили. Входили ребята более серьезные, изучавшие диамат (диалектический материализм). Кружок по диамату вел комсомолец Арон Броннер, брат Баси. Лелька раза два мельком встречалась с ним у Баси. Он ей не понравился. Стало интересно, как он ведет занятия. Лелька осталась послушать.

Наружность Арона была ужасная, и он ни в чем не походил на сестру. Бася была красавица. Арон был безобразен: огромная голова, вывороченные губы, узенькие плечи, выдавшиеся вперед; в веснушках, и весь рыжий: не только волосы рыжие, но и брови, даже ресницы на припухших веках были бледно-рыжие.

Но когда он сел за стол, вынул блокнот с конспектом и вдруг улыбнулся, он Лельке понравился: улыбка была грустная, смущенная и ужасно добрая. Арон заговорил. Стал излагать возражения Энгельса Дюрингу по вопросу о том, делает ли диалектический материализм излишним философию как отдельную науку. Тут он совсем заинтересовал Лельку, даже безобразие его стало не так заметно. Глазки за припухшими веками засветились глубоко серьезным светом; в углах толстых губ дрожала добродушная насмешка: как будто для себя, внутри, Арон соглашался далеко не со всем тем, что излагал ребятам. Беспокойно и завистливо ощущалось, что он знает и понимает больше, чем говорит, и даже как будто больше того, кого излагает. То есть, значит, - больше самого... Энгельса? Ого!

Лелька спросила соседа:

- Докладчик - из вуза или у нас работает?

- У нас, в закройной передов.

Лельке стало смешно: никак не могла она себе представить этого головастого лектора режущим на цинковом столе резину для передов.

* * *

В ЧАСТНУЮ ЛЕЧЕБНИЦУ
БОЛЕЗНЕЙ УХА, ГОРЛА И НОСА
Д-РОВ ДАВЫДОВА И ПЕРЕЛЬМАНА

Дорогие товарищи! Прочитав в публикации «Красной нивы» ваш адрес, обращаюсь к вам с просьбой такого сорта. У меня более солидное лицо, толстый нос и вдобавок сросшиеся брови, а также вдобавок и широкие. Вот и все недостатки моего лица. Теперь если можно сделать операцию моему носу, чтобы его сузить, а также чтобы он был потоньше, и если можно сузить и уничтожить волос сросшихся бровей, то пришлите ответ немедленно. И ответьте мне, сколько это будет стоить все лечение.

Спиридон Кочерыгин, рабочий-лакировщик завода «Красный витязь».

* * *

Лелька вся жила теперь в процессе новой для нее работы на заводе, в восторге обучения всем деталям работы, в подготовке к занятиям в кружке текущей политики, который она вела в заводском клубе. Далекими становились личные ее страдания от воспоминания о разрыве с Володькой. Только иногда вдруг остро взмахнет из глубины души воспоминание, обжигающими кругами зачертит по душе - и опять упадет в глубину.

Давно была пора заняться зубами - многие ныли. Но в вихре работы и сама боль ощущалась только как-то на поверхности мозга, не входя в глубь сознания. Однако в последнюю ночь зубы так разболелись, что Лелька совсем не спала и утром пошла в заводскую амбулаторию к зубному врачу.

Сидела в ожидальней в длинной очереди. За разными дверями принимали врачи разных специальностей, - к каждой двери были очереди. Лелька сидела, сонно смотрела перед собою. Вдруг видит: из одной очереди вышла пожилая работница, стала в угол за кипятивником «Титан», спиной к сидевшим, что-то стараясь закрыть. Но Лелька увидела: вынула из кармана маленький пузырек, отбила головку и стала из пузырька

поливать себе руки. Пузырек бросила в угол. Воровато огляделась. Лелька поспешно отвела глаза. Работница опять села в очередь.

Что такое? В чем дело? Лелька поглядывала на работницу. Руки ее покраснели, кое-где даже как будто вздулись волдыри. Леля стала ходить по приемной, как будто случайно подошла к углу, уронила на кафельный пол свою красную книжку-пропуск, нагнулась и вместе с книжкой подняла пузырек. Трехгранный, рубчатый; на цветной этикетке - «Уксусная эссенция». Лелька побледнела. Сердце заколотилось.

Решительно подошла к работнице.

- Вот что, товарищ, уходите-ка с приема. Вы себе сейчас полили руки уксусной кислотой, чтобы получить бюллетень.

- Какой кислотой? С ума, что ль, ты спятила? - работница быстро стала сыпать негодующими словами. - И как не стыдно врать! Я еще не на Ваганьковом, не в крематории, чтобы на меня врать!.. Кипятила намеренно воду на примусе и обварила руку.

Соседки враждебно поглядывали на Лельку.

- Ты что тут, контролерша, что ли?

- Товарищи, стыдитесь! При чем тут контролерша? Мы все сейчас - хозяева производства, мы не на капиталистов работаем. Как же мы можем допускать, чтобы наше рабочее государство платило деньги по бюллетеню человеку, который нарочно руки себе испортил, чтобы не работать!

- А тебе что? Не из своего, чай, кармана будешь платить.

- Плыла бы лучше мимо. Ишь, подглядела! Кто тебя звал?

Работница с обожженными руками продолжала кричать на всю ожидальную, всем показывала руки, рассказывала подробно, как обварилась из самовара.

Бледная Лелька решительными шагами расхаживала из одного конца ожидальной в другой.

Из двери сестра крикнула:

- Номер восемнадцатый!

Работница вошла к доктору. Леля раза два прошлась по приемной, потом быстро открыла дверь и вошла тоже. Доктор осматривал красные, в волдырях, руки работницы.

- Доктор, может быть, вот этот пузырек поможет вам определить истинные причины ожога у больной. Десять минут назад она в углу приемной полила себе руки из этого пузырька.

Больная сначала остолбенела, потом опять быстро стала сыпать о самоваре, о бесстыдном вранье. Но доктор уже привык к таким вещам. Он обнюхал руки больной и равнодушно сказал:

- Вот мазь. А бюллетеня вам не будет.

Работница, плача, вышла в ожидальную.

- Что ж я теперь делать буду? Работать не могу, бюллетеня не дали... У-у, сука подлая, подглядчица! Шпионка! Глаза бы таким вырывать с самым корнем!

* * *

Работницы ночной смены толпились на широком заводском дворе, - кончили работу и ждали, когда заревет гудок и распахнутся калитки. От электрических фонарей снег казался голубым. Лелька увидела Басю Броннер. Взволнованно и слегка пристыженно рассказала ей об утреннем происшествии в амбулатории. Бася сурово сверкнула глазами.

- Очень хорошо сделала! Молодец девчонка!.. Ах, черт! Расстреляла бы всю эту сволочь. Вредители проклятые! - Вдруг рассмеялась. - Руки обожжены, значит, а бюллетеня не получила, - здорово! Нужно потребовать от врача, чтобы сообщил о ней в завком. Какой ее врач принимал?

Вынула блокнот и все записала. Лелька поморщилась.

- Что там, оставь уж, Баська! И без того она наказана.

Бася нетерпеливо повела плечами:

- Эх, это гуманничанье интеллигентское! Бро-ось!

Заревел гудок, работницы и рабочие восьмью черными потоками полились в распахнувшиеся калитки.

Вышли и Лелька с Басей. Долго ходили по улицам. Бася говорила:

- Такой кустарной борьбе, в одиночку, грош, конечно, цена. Нужно ее поставить на широкую ногу, придать борьбе общественный характер. Ты не представляешь, как крепко сидит в рабочем, и особенно в работнице нашей, это старое, рабское отношение к производству: надувай, сколько сумеешь! А что еще хуже, и что в них еще крепче сидит,

это – старое представление о товарищеской солидарности. Добросовестная работница всей душой болеет за производство, а рядом с нею – злостная лодырница, только портит материал, форменная вредительница. И та смотрит на нее, сама же возмущается, а нет, ни за что не заявит мастеру. И так брезгливо: «Что, я на товарища буду доносить?» Всю еще психологию надо перестраивать.

И деловито перебила себя:

– Нужно будет вот что: переговорить в ячейке и встряхнуть хорошенько легкую нашу кавалерию. Как всегда у нас: в прошлом году взялась за дело горячо, а потом совсем закисло. Нужно ее двинуть на борьбу с пьянством, с лодырничеством и вредительством.

А когда прощались, Бася крепко, по-мужски, пожала руку Лельки и властно сказала:

– Лелька! Я на тебя очень рассчитываю, не зря так старалась сманить тебя на наш завод. Работе своей ты теперь уж обучилась. Пора в настоящее дело. Всей головой.

– А я для чего же сюда пошла?

* * *

В субботу под вечер сидели на скамеечке у ворот три рабочих-вальцовщика, покуривали папиросы «Басма» и беседовали.

Старичок с впалой грудью, с рыжевато-седой бородкой говорил:

– Без нее и аппетиту настоящего нету. А как выпьешь перед обедом лафитничек, – и ешь за обе щеки... А теперь, – что такое, скажите, пожалуйста: за поллитровки два рубля отдай, сдачи получишь две копейки. Это что, – рабочее государство, чтоб с рабочего такие деньги драть? А раньше бутылка стоила всего полтинник.

Другой, очень большой и плотный, поддержал:

– И выпить-то негде. Только в сортире и можно. На улице станешь пить – милиционер тебе один рубль штрафа; спорить начнешь – в отделении три заплотишь. Нужно, чтоб в нарпите и водочку продавали, – вот бы тогда было хорошо. Сиди в свое удовольствие.

– Хо-хо! – третий, с подстриженным треугольником волос под носом, расхохотался. – Еще в нарпите тебе водку продавай!.. Нет, как в четырнадцатом году продажу по случаю войны прекратили, с той поры я не пью. И до чего же хорошо!

Большой возразил неохотно:

– Нужно чем-нибудь развлечься. Скучно. Как не выпить.

– Клуб тебе на то есть.

– Ну, клуб! Всегда молодых битком. Да и что там? Кино, театр. Надоело.

– А тебе чего надобно в клубе, что не надоело?

Большой замолчал в затруднении. Рыжебородый же старичок твердо ответил:

– Надобно, чтоб бутылка была пятьдесят копеек, чтобы было где с приятелем выпить и закусить. Дома что? Только во вкус придешь – жена за рукав: «Буде!» Какое удовольствие? Пивных, – и тех поблизости нету, – запрещены в рабочих районах. За Сокольничьяй круг поезжай, чтоб пивнушку найти. Это называется: диктаторство пролетариата! Буржуям: пожалуйста, вот вам пивная! А рабочему: нет, товарищ, твой нос до этого не дорос!..

– Буде тебе! – третий с опаскою оглянулся.

– Что «буде»? Я правильно говорю, я никого не боюсь, самому Калинину это самое скажу. Или вот такой параграф: в субботу и воскресенье спиртные напитки продавать запрещено. Это в кого они наметились, понял ты? В рабочего же человека! Торговец там или интеллигент, – он и в будни может купить. А мы с тобою в будни на какие капиталы купим? Вот зато нам сейчас с тобою выпить захотелось, иди к Богобоязненному, целкаш лишний на бутылочку накинь.

Большой вздохнул.

– А иди не миновать. Выпить охота.

Старичок решительно встал.

– И нече время терять. Идем!

Свернули в переулочек. Серые тесовые ворота, старый, но крепкий четырехконный домик с палисадником. Недалеко от ворот стояли три парня и безразлично смотрели. Были уже сумерки. На дворе постучались в дверь. Открыл высокий старик, иссохший, с иконописным ликом, похожий на Иисуса Христа, по прозвищу Богобоязненный. Впустил в горенку, зажег свет – и тогда стал похож на Григория Распутина^[15]. Вышел в другую комнату, долго там что-то передвигал, скрипел и вынес бутылку водки.

Довольные, вышли оба из ворот. Вдруг подошли к ним парни.

– Вы что в доме этом делали?

Старик грозно крикнул:

- А вам что?

Молодой парень с кепкой на затылке быстро распахнул у старика полы пальто и выхватил из кармана пиджака бутылку.

- Хха-а! Это что у вас, гражданин?

- А тебе что?! Кто ты таков? Сопляк, пошел прочь, пока тебе соплей не утер!

Парень крикнул высокого роста товарищу, неподвижно смотревшему на то, что делалось:

- Юрка! Обыщи другого гражданина! Может, и у него что под одежей!

Юрка продолжал неподвижно стоять, засунув руки в карманы. Подскочил третий парень и ошупал старикова спутника. Тот пожал плечами и покорно поднял руки, как перед грабителями. У него ничего не нашли.

Оська Головастов, наслаждаясь своею ролью и властью, сказал большому:

- Вы, гражданин, можете идти, а вас (к старику) мы попросим в отделение милиции для составления протокола.

- Да кто вы такие? Уголовный розыск, что ли?

- Легкая кавалерия.

- Ка-ва-ле-ри-я... То-то я смотрю, рожи как будто все свои, рабочие... Тьфу! До чего испоганились людишки!

Оська и Ромка повели старика в милицию. Сзади, понунив голову, брел Юрка.

В отделении милиции дежурный стал составлять протокол.

- У кого вы, гражданин, купили вино?

Старик сердито кричал:

- Ни у кого я не покупал! Вчера вечером купил в лавке Центроспирта! А сейчас с приятелем шли в лес выпивать.

Оська торжествуя спросил:

- А зачем к Богобоязненному заходил?

- Не обязан я отвечать, к кому зачем заходил! Я свободный гражданин советского государства! Почетный! Рабочий, пролетарий! Имейте в виду! Куда хочу, туда и отправляюсь!

Несмотря на все расспросы, Богобоязненного старик не выдал. И с омерзением глядел на парней. Послали наряд милиционеров сделать обыск у Богобоязненного. Стали подписывать протокол. Оська сказал:

- Юрка, подпишись!

- Ну тебе!

Юрка махнул рукою и вышел из отделения.

* * *

Пропала безутратная веселость Юрки. Ходил он мрачный, рассеянный и, вспоминая, болезненно морщился. На работе не глядел на товарищей. Раз услышал за спиною, когда проходил к своей машине:

- Вон доносчик идет. Иван Иваныча Зяблова арестовывал, в милицию водил.

В курилке, когда он входил, разговоры замолкали.

* * *

В обеденном перерыве, когда Юрка в мрачной задумчивости стоял в очереди за супом в столовой нарпита, к нему взволнованно подошел Спирька. Глаза в пушистых ресницах смотрели из-под низкого лба враждебно. Спросил отрывисто:

- Тебя Лелька Ратникова записала в легкую кавалерию?

- Ну да, записала.

- Почему ж меня не записала? Вот стерва. Хуже я тебя, что ли!

- А я знаю? Чего сам не запишешься? Зайди в ячейку.

- Тебя она записала, а я сам пойду записываться! - Потер широкую переносицу. - Какая стерва, а?.. Будешь сегодня на молодежной вечеринке в клубе?

- Нет, не пойду. Невесело что-то мне.

- Лелька будет.

- А мне что!

- Я пойду.

Спирька сказал это с угрозой.

Пришел Спирька на вечеринку. В темно-синей сатиновой рубашке с густо нашитым рядом перламутровых пуговиц от ворота почти до пояса. Разговаривал с Лизой Бровкиной и нервно смеялся. Она спросила:

- Что это ты какой веселый?

- Сейчас зуб себе вырвал.

- Шибко болел?

- Стану я больной зуб рвать! Здоровый, конечно. Чтоб золотой вставить.

Увидел в густой толпе Лельку. Сразу стал угрюмый. Угрюмо кивнул ей головой и отвернулся.

Лелька шла с Зиной Хуторецкой, каждая несла в руках по фотографическому аппарату. Вошли в боковую комнату. Над дверью была большая надпись:

БЕСПЛАТНО! ПОРТРЕТЫ!

Каждый получит в конце вечера свое собственное изображение поразительного сходства!

Уже стояла длинная очередь далеко в коридор. Леля и Зина, давась от смеха, защелкали аппаратами. Парни подбоченивались и принимали молодецкий вид, девушки придавали глазам томное выражение. Но это был шутовской номер: затворами щелкали впустую, а в конце вечера каждый снявшийся должен был получить в конверте грошовое зеркальце.

Спирька стал в очередь. Устроился так, чтобы попасть к Лельке. Стал в позу, выпрямился и придал лицу глубоко меланхолическое укоряющее выражение. Лелька щелкнула затвором и равнодушно сказала:

- Следующий!

Спирька постоял. Поглядел. Медленно вышел из клуба.

Вечеринка была грандиозная, - первый опыт большой вечеринки для смычки комсомола с беспартийной рабочей молодежью. Повсюду двигались сплошные толпы девчат и парней. В зрительном зале должен был идти спектакль, а пока оратор из МГСПС^[16] скучно говорил о борьбе с пьянством, с жилищной нуждой и религией. Его мало слушали, ходили по залу, разговаривали. Председатель юнсекции то и дело вставал, стучал карандашиком по графину и безнадежно говорил:

- Товарищи! Давайте будем потише!

В отдельных комнатах были устроены разные аттракционы. Распорядительницы-комсомолки с веселыми лицами зазывали желающих набросить удочкою кольцо на горлышко бутылки или с завязанными глазами перерезать ножницами нитку с тяжестью. В комнате № 28 танцевали под гармонику вальс, краковяк, тустеп. Здесь усердно отплясывал Васенька Царапкин, - в крахмальном воротничке, а из бокового кармашка пиджака выглядывал ярко-зеленый шелковый платочек. Танцевали больше парни с парнями, девушки с девушками.

Внизу, в полуподвальном этаже, по длинному коридору только что начали новую эстафету в мешках. Лелька глядела с другими и смеялась.

Вдруг - треск и раскатывающийся звон разбитого стекла. У входа, в дверях, стоял Спирька. Рубашка была запачкана грязью, ворот с перламутровыми пуговками оборван, волосы взлохмачены, а в каждой руке он держал по кирпичине. Одна за другою обе полетели в окна. Звон и грохот. Ребята растерялись. А Спирька в пьяном исступлении хватал кирпич за кирпичом из кучи, наваленной для ремонта прямо за дверью, и метал в окна.

Потом сверкнувшим взглядом внимательно оглядел ребят. И вдруг, сильно размахнувшись, швырнул кирпич в их кучу, как раз в то место, где стояла Лелька. Девчата завизжали, все бросились на другой конец коридора и там сбились в кучу.

На минуту настала тишина. В одном конце коридора стояла онемевшая толпа парней и девчат, на другом - широкоплечая фигура Спирьки с растрепанной головой. Он держал на изготовке кирпич и глядел на одну Лельку.

Лиза Бровкина возмущенно сказала:

- Ребята, да укротите же его! Ведь он всех здесь искалечит!

Но парни мялись и не двигались.

У Лельки взмыла из глубины души холодная, озорная дерзость. Весело захватило дух. Уверенным шагом, высоко держа голову, она пошла прямо на Спирьку.

Спирька удивился, опустил кирпич и медленно пошел ей навстречу. Несколько парней двинулось следом за Лелькой. Спирька сверкнул глазами, и кирпич полетел мимо

Лельки в глубину коридора. Ребята шарахнулись назад. Лелька сильно побледнела.

Подошла, положила руку на плечо Спирьки.

- Спирька! Как не стыдно! Что за хулиганство! А еще комсомолец!

Спирька задыхался. Глаза в пушистых ресницах со страданием глядели на Лельку.

- Лель!.. Лель!..

Он всхлипнул и крепко ударил себя кулаком в грудь.

- Лель! За что ты меня обидела?

- Чем я тебя обидела?

- Юрку позвала в легкую кавалерию, а меня нет? А мы вместе с ним тебя в кружке слушали... Я ведь тоже слушал, старался... Чем я хуже его оказался? Ле-ель!..

Он выронил кирпич, рыдал и продолжал бить себя кулаком в грудь.

Вдруг вокруг него выросли фигуры парней, бросились на Спирьку. Он зарычал. Ребята схватили его за руки и стали их закручивать назад. Он вывертывался, рвался, но подбежали еще парни. Так закрутили ему назад руки, что Спирька застонал. И вдруг Лелька увидела: Оська Головастов теперь, когда Спирька был беззащитен, яростно бил его кулаком по шее.

Лелька в негодовании крикнула:

- Брось же, Оська! Что за гадость!

Спирька неожиданно изогнулся, с силою боднул Оську головой в лицо, вырвался и, шатаясь, побежал к двери. Разгоряченные ребята - за ним. Оська стоял, зажав ладонями лицо, из носу бежала кровь. Вдруг - дзеньканье, звон, треск. У двери были сложены оконные рамы, Спирька споткнулся и упал прямо в рамы. Барахтался в осколках стекла и обломках перекладин, пытался встать и не мог.

Его вытащили. Оська с остервенением кинулся его бить, но другие не пустили. Спирька пришел в себя, беспомощно стоял и с удивлением глядел на свои залитые кровью руки, и как ручейки крови бежали с лица на нижнюю рубашку, выглядывавшую из разрывов верхней. Кровь не капала, а бежала быстрыми ручейками. Лелька сказала:

- Это серьезная штука. Нужно его отправить на перевязку.

Спирька встряхнулся.

- Куда отправить? Никуда не пойду.

И заворочал опять обезумевшими глазами. Явился заведующий клубом, распорядители. Спирька отказывался идти, буйствовал, кричал:

- Ни с кем не пойду, только с Лелькой!

И со звериной хитростью все время держался спиной к стене, чтоб его опять не схватили сзади. Лелька пожала плечами.

- Одна я с тобою не справлюсь. Не доведу. Пусть вот хоть Шурка Щуров с нами пойдет.

- Шурка? - Спирька внимательно оглядел Шурку. - Тех-ни-че-ский секретарь? Доверяю! Ладно!

Втроем пошли в больницу. В середине - шатающийся, весь залитый кровью Спирька, а под руки его держали с одной стороны Лелька, с другой - Шурка Щуров.

Спирька в счастливом упоении все бил себя кулаком в грудь и твердил:

- Из всех ребят! Из всех девчат! Больше всех я уважаю тебя! Только тебя уважаю, больше н-и-к-о-г-о! Ле-ель! Видишь трамвай идет? Скажи одно слово, - сейчас же лягу на рельсы!

Лелька шла и в душе хохотала. Ей представилось: вдруг бы кто-нибудь из бывших ее профессоров увидел эту сценку. «Увеселительная прогулка после вечера смычки». Ха-ха! Ничего бы не понял бедный профессор, как можно было променять тишину и прохладу лаборатории на возможность попадать в такую компанию, как сейчас. Стало ей жаль бедного профессора за его оторванность от жизни, среди мошек, блошек и морских свинок.

* * *

Юрка тосковал и не знал, куда себя деть. Вышел новый номер заводской газеты «Проснувшийся витязь». В нем Юрка прочел:

НА ЧЕРНУЮ ДОСКУ!

В штаб легкой кавалерии поступило заявление, что некий Воробьев, по прозвищу Богобоязненный, бывший рабочий нашего завода (какой позор!), торгует вином. Этот Воробьев очень хитрый и ловко умел скрывать от милиции свои делишки. Вальцовщик Иван Зяблов в минувшую субботу зашел к нему с товарищем, купил бутылку водки, но при выходе был остановлен отрядом легкой

кавалерии нашего завода. Попросили его в милицию. Когда стали составлять протокол, то Зяблов стал скрывать этого шинкаря и ругать кавалеристов. Что это за рабочий, который скрывает шинкаря? Мы не ожидали, что на нашем заводе могут быть такие несознательные рабочие. На черную доску вальцовщика Ивана Зяблова!

Но и эта заметка не изменила настроения Юрки. Напротив, еще стало противнее на душе. «В штаб легкой кавалерии поступило заявление...» Это он там нечаянно проговорился про Богобоязненного, у которого и сам не раз покупал прежде вино. Проговорился, ребята пристали, пришлось сказать адрес... Ой, как все мерзко!

Юрка не знал, что сделать, чтоб утишить тоску. Напился пьян. Легче не стало.

* * *

Могучий рев гудка на весь поселок, залиvistые звонки по цехам: половина двенадцатого, часовой перерыв на обед.

Юрка остановил свою машину, вяло побрел в столовку. По проходам и лестницам бежали вниз веселые толпы девчат. Девчата, пересмеиваясь, стояли в длинных очередях к кассе и к выдаче кушаний. Буро-красные столы густо были усажены народом, – пили чай, ели принесенный с собою обед или здесь купленные холодные закуски (горячие блюда в заводской столовке не готовились, – пожарная опасность от огня: бензин). Весело болтали, смеялись, спорили.

Юрка сидел в углу, угрюмо жевал колбасу с плохо выпеченной булкой и с завистью смотрел на кипевшую вокруг бездумно-веселую беззаботность. Увидел у окна в куче девичьих голов хорошенькую головку Лельки с вьющимися стриженными волосами. Лелька, смеясь, горячо что-то говорила Лизе Бровкиной. Вот Леля: она все знает, все понимает, что хорошо, что плохо, у ней настоящие взгляды, марксистские... Эх, мучение!

Лелька встала из-за стола, пошла с Лизой из столовой. Юрка бросил начатый стакан чая и побежал следом. Нагнал в раздевалке, меж вагонеток, груженных рамками с готовыми галошами.

– Здравствуй, Леля!

– А-а, Юрка! – она радушно протянула руку. – Читал в газете про ваш налет?

Юрка потемнел.

– Читал.

Лелька внимательно поглядела на него, взяла за концы пальцев и потянула за собой.

– Пойдем, поговорим.

Они пошли длинными и молчаливыми залами за раздевалкой, где чернели огромные вулканизационные котлы. Ходили по рельсовым путям взад-вперед и горячо говорили.

– Юрка, Юрка, глупая ты голова! Неужели и теперь не понимаешь? Какая у нас может быть установка? Пойми, – только одна: все, что способствует приближению социализма, то хорошо. Что вредит, то – к черту, с тем нужно бороться всеми силами, без пощады и без гнилых компромиссов. Ну а что, скажи: правильно поступает наша власть, когда борется с пьянством рабочих, когда запрещает продажу спиртных напитков?

– Ясно правильно.

– Н-ну-у?... – Лелька взъерошила Юрке волосы. – О чем же ты мучаешься, чем терзаешься? Дурак, дурак!

Взяла Юрку под руку, прижалась к его руке, и так пошли к раздевалке.

– Мы с тобою еще много делов наворочаем. Это у тебя «детская болезнь», остатки старой, дореволюционной психики.

Юрка радостно ощущал, как к локтю его прижималась тугая грудь Лельки. Волна уверенной радости окатила душу. Лелька видела его влюбленные глаза, и ей хотелось почувствовать свою власть над ним.

– Ну, сейчас гудок. Бежать на работу. Вот что, Юрка. В штабе нашей легкой кавалерии я предложила такую штуку: нужно повести решительную борьбу с прогульщиками. Прогулы дошли до четырнадцати процентов. Ты понимаешь, как от этого падает производительность. И вот что мы надумали... С понедельника мы работаем в ночной смене, ты – тоже?

– Ага!

– Так вот. В понедельник к восьми утра мы собираемся в завкоме, получаем список всех не явившихся на работу, разбиваемся на отряды – и на квартиры к прогульщикам. Проверяем – уважительный прогул или неуважительный.

Опять вихрь омерзения закрутился в душе Юрки, он неохотно промычал что-то, будто

бы одобрителное. Лелька опять внимательно поглядела на него.

- Значит, в понедельник, в восемь утра, в завкоме. Придешь?

- Приду.

- Ну, смотри! Если надуешь...

Она погрозила ему кулаком.

Заревел гудок. Опротью оба бросились к своей работе.

* * *

В завкоме, в комнате Осоавиахима^[17], в понедельник собрались ребята-налетчики. Походом руководила Бася. Распоряжалась властно и весело. Шурка Щуров, во всяком деле незаменимый технический секретарь, принес длинный список работниц и рабочих, не явившихся сегодня на работу.

- Го-го! - общий раскатился хохот. - Какой эпидемический день!

Бася спросила Шурку:

- А адреса их раздобыл?

- Ну да, раздобыл. А то как же?

- Молодец, парень. Забыла тебе сказать. Боялась, сам не сообразишь.

Шурка, играя, схватил ее за запястья. Бася спокойно отстранила его руки.

- Брось заигрывать! Молодой парень, а к старухе лезешь... Ну, рассаживайся, ребята.

Будем распределять адреса по районам.

С шутками и смехом сортировали адреса, потом стали распределять районы.

Лелька под столом ласкающе потянула Юрку за концы пальцев и сказала:

- Мы с тобой.

Юрка радостно отозвался:

- Ладно!

Распределили. Лельке с Юркой достался район Миллионной улицы. Юрка, сначала веселый, вдруг опять почему-то стал мрачен. Лелька исподтишка приглядывалась к нему. Делом женского самолюбия стало для нее - подчинить себе этого парня, заставить его радостно, с сознанием своей правоты исполнять то, что сейчас - она видела - он исполнял с насадом и отвращением.

Когда они выходили, Юрка вдруг сказал:

- Я тебя очень прошу: давай с кем-нибудь поменяемся районами.

Лелька удивилась.

- Почему?

- Видишь ли... - Он замялся, вынул список, подчеркнул ногтем. - Спиридон Кочерыгин. Это мой приятель закадычный. Спирька. Ты знаешь. Сколько гуляли вместе! Как я к нему приду?

Лелька строго смотрела на него.

- Юрка! Ты для своих приятельских отношений готов пожертвовать революционным долгом? Стыдись!

- Да нет, я что ж... Я понимаю. Нешто я против этого? Я только прошу, поменяемся районами, чтоб не мне к нему идти...

Холодно и упрямо Лелька ответила:

- Как хочешь. Меня не пугает, что мне к Спирьке придется идти, - чего мне меняться? А ты меняйся, твое дело.

Проходили мимо Шурка Щуров с Лизой Бровкиной.

- Шурка! Хочешь, пойдём со мной? А Юрка с Лизой пойдет. Ему что-то со мной не по дороге.

Шурка с готовностью отозвался:

- Есть!

Но Юрка отстранил его.

- Нет уж, все одно. Пойдем.

* * *

На Миллионной вошли в ворота большого - не сказать двора, не сказать сада. Среди высоких сосен и берез были разбросаны домики в три-четыре окна. Юрка, бледный, шел уверенною дорогою к почерневшему домику с ржавой крышей.

Вошли в просторную кухню с русской печью. За столом сидела старуха, в комнате было еще трое ребят-подростков. У всех - широкие переносицы и пушистые ресницы, как у Спирьки.

Юрка, не стучась, открыл соседнюю дверь, - Лелька хотела его остановить, чтоб постучал, да не успела. Спирька в очень грязной нижней рубашке сидел на стуле, положив ногу на колено, и тренькал на мандолине. Волосы были взлохмаченные, лицо помятое. На лбу и на носу чернели подсохшие порезы, - как он тогда на вечеринке упал пьяный в оконные рамы. Воздух в комнате был такой, какой бывает там, где много курят

и никогда не проветривают.

- А-а!

Спирька приветливо улыбнулся Юрке и вдруг в сконфуженном испуге заметался по комнате: увидел Лельку. Схватил крахмальный воротничок, стал пристегивать.

Лелька холодно спросила:

- Мне нельзя? Я подожду.

- Ничего, иди, иди!

А сам поспешно надевал пиджак и повязывал галстук. На ходу заглянул в зеркальце, поплевал на ладонь и пригладил волосы.

- Садитесь, сейчас будем чай пить.

Был он очень польщен, но все-таки никак не мог понять, чего она пришла. Лелька с тою же холодной сдержанностью спросила:

- Ты почему сегодня не на работе?

За спиною Спирьки она увидела его постель: засаленная до черноты подушка, грязный тюфяк и на нем скомканное одеяло. Он спал без постельного белья. А зарабатывал рублей двести. Ветхие синие обои над кроватью все были в крупных коричневых запятых от раздавленных клопов.

- Почему не на работе?

- Проспал. Немножко погуляли вчера.

- Что ж так? Это не годится. В распоряжения попадешь за неуважительную причину.

- Уважительная будет. У меня тут в домовом комитете все свои людишки, вместе гуляем. Самую уважительную причину пропишут... Да что мы так, погодите, я сейчас чайку...

- Товарищ Кочерыгин, мы к тебе не чай пришли распивать, а по приказу штаба легкой кавалерии, - проверить, по уважительной ли причине ты сегодня не вышел на работу. Ты комсомолец, значит, парень сознательный, понимаешь, что прогулы - это не пустяки для производства, что производство на этом ежегодно теряет сотни тысяч рублей. Подумал ты об этом?

Спирька окаменел от неожиданности и молча слушал. Потом остро блеснул глазами, медленно оглядел обоих.

- Вы за этим делом ко мне и пришли?

И пристально уставился на Юрку. Юрка отвел глаза.

- Та-ак... - Спирька глубоко засунул руки в карманы.

Лелька с негодованием воскликнула:

- Ты же еще пытаешься нас облить презрением! А еще комсомолец! Пример подаешь лодырям и прогульщикам, обманываешь государство и партию, играешь на руку классовым нашим врагам - и стоишь в позе возмущенного честного человека!

Спирька тяжело глядел, не вынимая рук из карманов.

- Ну? Дело свое сделали? Запишите в свои книжечки что надо и смывайтесь.

Лелька спокойно ответила:

- Нам больше тут делать и нечего. Пойдем, Юрка.

Спирька, все так же руки в карманах, вышел следом на крылечко. Лелька с Юркой пробирались по узкой тропинке в снегу к воротам. Спирька сказал вслед Юрке:

- Погоди, гад! Посчитаемся с тобой!

Лелька остановилась.

- Что он сказал?

Спирька ушел к себе. Юрка ответил неохотно:

- Так, грозитя. Только не больно его испугались.

Они пошли по следующим адресам.

* * *

Длинные столы. Перед ними - баки с коричневым лаком. Мускулистые лакировщики снимают с вагонетки тяжелые железные полосы, - они почему-то называются рамками. На полосах густо сидят готовые галоши. Ставят рамки на подставки за столом. Лакировщик снимает колодку с готовой галошей, быстро и осторожно опускает галошу в лак, рукою обмазывает галошу до самого бордюра, стараясь не запачкать колодку, и так же быстро вставляет ее опять на шпенок рамки. Приятно пахнет скипидаром.

Спирька Кочерыгин работал в одной физкультурке без рукавов, бугристые его мускулы на плечах весело играли, когда он нес к вагонетке рамку с отлакированными галошами. Но сам он был мрачен, глядел свирепо и только хотел как будто в веселую игру мускулов оттянуть засевшую в душе злобу.

Пришел из курилки взволнованный Васька Царапкин, сообщил товарищам:

- Администрация поднимает вопрос о снижении расценок лакировщикам. Говорят, - очень много зарабатываем, двести рублей.

- Как?! Ого! - рабочие возмутились. - А работа-то какая, это они подумали? В рамке два пуда весу, ежели колодки чугунные. Потаскай-ка, - ведь на весу их держишь в руках.

- Да, - продолжал Царапкин, - вырабатываем мы пятьдесят три тысячи пар, хотят поднять норму до пятидесяти семи, а расценки снизить.

- Ну, это еще поглядим, как снизят. Не царские времена.

Царапкин осторожно возразил:

- Царские времена тут ни при чем. А нужно в профцехбюро, - послать туда депутатов, объяснить. Не может всякая работа оплачиваться одинаково. У нас тяжелая работа - раз. Вредная для здоровья - два.

Спирька процедил:

- Ого! Как раз и хронометраж идет. Держись, ребята!

В лакировочную входила Бася Броннер с папкою в руке. Все не спеша взялись за работу.

Бася подошла к столам, где рядом работали Спирька и Царапкин. Спирька оглядел ее наглыми глазами. Бася от него отвернулась. Достала карандаш, положила секундомер на край стола и начала наблюдать работу Царапкина. Царапкин медленно снимал колодку, медленно макал ее в лак и старательнейше обмазывал рукою бордюры. Бася начала было записывать его движения, - безнадежно опустила папку и спросила:

- Вы, товарищ, всегда так медленно работаете?

Царапкин с готовностью стал объяснять:

- Скорая работа, товарищ, у нас никак не допустима. Галоши нужно обмазывать очень осторожно, чтоб ни одна капелька лака не попала на колодку. Н-и о-д-на, понимаете? А то при вулканизации лак подсохнет на колодке. Когда новую галошу на колодке станут собирать, подсохший этот лак сыплется на резину и получается брак. Самая частая причина брака.

Бася раздраженно возразила:

- Напрасно вы мне это, товарищ, рассказываете, - я и сама все это не хуже вас знаю.

- А знаете, так чего же удивляетесь?

И продолжал с медленной старательностью обмазывать галоши. Бася прикусила губу, помолчала и стала записывать его движения. Сзади кто-то с возмущением сказал:

- Как не надоест! Ходит, ничего сама не работает, только глазеет и пишет.

Бася вспыхнула и не сдержалась:

- Зато вам после меня придется больше работать!

- Да уж это конечно! На то вас тут и поставили, - шнырять да вынюхивать, как бы норму нагнать.

Царапкин примиряюще возразил:

- Товарищи, нельзя так. Это ее работа, она ее обязана делать.

Бася, поглядывая на секундомер, старательнейшим образом продолжала записывать все - видимо, замедленные - движения Царапкина. Наконец кончила, сложила папку и пошла к выходу. Вдогонку ей засмеялись.

Царапкин морщился и махал на товарищей руками.

- Нельзя так, ребята! Ну что это! Все дело только портите. Она сразу и поняла, что мы дурака валяем. Нужно было ничего не показывать, - только растягивай каждый работу, и больше ничего. Эх, подгадили все дело!

* * *

Трудная это была и неприятная работа Баси - хронометраж. Рабочие настораживались, когда она подходила, знали, что выгоднее работать на ее глазах помедленнее, и отношение к ней было враждебное. Силой воли Бася обладала колоссальной, но и она с непривычки часто падала духом, никак не могла найти нужного подхода.

Весь этот день она промучилась, и самолюбие сильно страдало, когда вспоминала общий смех себе вдогонку. Вечером случайно узнала в ячейке, что Царапкин - комсомолец, да еще активист. Вспомнила, что даже имела с ним кой-какие дела. Бася решила пойти к нему на дом и поговорить по душам.

Царапкин жил в конце трамвайной линии, около аптеки, в огромном шестизэтажном, только что выстроенном доме рабочей-жилищной кооперации. Позвонила Бася, вошла.

Царапкин очень удивился. Она сказала, сурово глядя на него черными глазами:

- Я не знала, что ты комсомолец, уже после узнала. Пришла с тобою поговорить по товарищески, по-комсомольски. Что же это ты, Царапкин, делаешь?

Вася с невинным лицом смотрел.

- Это насчет того, когда ты была у нас в лакировке? Что же я делаю? Когда ты ушла, я, совершенно напротив того, объяснил товарищам, что так не годится делать.

- А сам зачем делал?

И вдруг замолчала. И с удивлением стала оглядываться. Большая комната. Все в ней блестело чистотою и уютом. Никелированная полутораспальная кровать с медными шишечками, голубое атласное одеяло; зеркальный шкаф с великолепным зеркалом в человеческий рост, так что хотелось в него смотреться; мягкий турецкий диван; яркие электрические лампочки в изящной арматуре.

Бася отрывисто спросила:

- Что это у тебя за мебельный магазин?

Васенька покорезился. Бася подняла брови и изумленно взглянула на стену.

- А это что?!

Над диваном в красивых, совершенно одинаковых ореховых рамах висели рядом два портрета: портрет Ленина и - фотографически увеличенный собственный портрет Васеньки Царапкина с умным лицом.

- Два вождя на стене: Владимир Ленин и товарищ Царапкин! Ха-ха-ха!

Царапкин с неудовольствием возразил.

- Почему - «вождя»? Пришлось по случаю купить две рамки одинаковых, только всего и дела. А чего тебе из мебели тут не нравится?

- Ничего не нравится. Кокотки комната, а не комсомольца. Ты, случаем, уж не душишься ли?

- Кокотки тут ни при чем. И вообще я тебе удивляюсь, товарищ. При царском режиме рабочий жил, как свинья, - что же, и теперь мы должны жить так же? Я думаю, что рабочий должен повышать свой жизненный и культурный уровень, в этом и был смысл нашей великой революции.

- Да? - почтительно спросила Бася. Рассмеялась и встала. И смотрела с ненавистью.

- Я пришла с тобою поговорить как с товарищем-революционером о твоём ошибочном поведении сегодня в цехе. А теперь вижу, что говорить нам с тобою не о чем. С тобою нужно бороться как с классовым врагом.

И вышла.

* * *

Из объявлений на задней странице газеты «Известия».

Гр-н ЦАРАПКИН Василий Алексеевич, уроженец города Москвы, меняет имя и фамилию Василий Царапкин на ВАЛЕНТИН ЭЛЬСКИЙ. Лиц, имеющих препятствия к означенной перемене, просят сообщить в Мособлзггс, Петровка, 38, зд. 5, с указанием имени, отчества, фамилии и местожительства.

* * *

Лелька в воскресенье зашла вечером к Басе. Расхаживая по уютной своей комнате широким мужским шагом и сильно волнуясь, Бася рассказала, как держался с нею на работе Царапкин. Когда Бася волновалась, она говорила захлебываясь, обрывая одну фразу другою.

- Этого оставить так нельзя. Нужно, понимаешь, вокруг этого дела чтобы забурлило общественное мнение. Чтоб широкие массы заинтересовались. Какое наглое рвачество! И комсомолец еще! Я поговорю в партийной ячейке. Думаю, - нельзя ли устроить над ним общественный суд, товарищеский, чтобы закрутить это дело в самой гуще рабочих масс.

Пили чай. С хохотом делились такими противоположными впечатлениями от посещения обиталищ Спирьки и Царапкина.

Лелька сказала:

- А я недавно присутствовала на занятиях твоего брата, как он ведет кружок по диамату.

Черные глаза Баси блеснули острым любопытством. Стараясь показаться безразличной, она спросила, глядя в сторону:

- Как тебе понравились его занятия?

- Замечательно! Прямо, профессор какой-то! Откровенно сказать, раньше он мне не

нравился. А тут – замечательно! Видно, умница, и с собственным взглядом на все.

В глазах Баси мелькнула тайная радость. Она медленно сказала, сдвинув брови:

– Арон – это единственное пятно на моей революционной совести.

– Пятно?

– Позорнейшее. Из-за которого я не должна бы смотреть прямо в глаза ни одному честному товарищу. Ведь мы с ним дети самого форменного нэпмана, мучного торговца. Только я с пятнадцати лет порвала с родителями, ушла от них, поступила в комсомол. А он от родителей не отказался, жил с ними, на их иждивении. Совершенно аполитический. До социализма ему нет никакого дела. А я провела его рабочим на завод, помимо биржи, через свои связи. Представляешь себе, какой он закройщик передов! Поддержала его кандидатуру в комсомол... Но как же мне иначе быть? Ты понимаешь, ему необходимо поступить в вуз, он обязательно должен дальше учиться, я уверена, что из него получится великий мыслитель. Увы! Не вроде Маркса, но, во всяком случае, вроде Спинозы или Эйнштейна... А так в вуз ему не попасть. Два раза блестяще сдавал вступительные, – и за социальное происхождение не принимали. Но скажи, неужели нам не нужны свои Эйнштейны?

Что Арон аполитичен, это сразу настроило Лельку против него. И, оказывается, ему совсем все равно, придет ли социализм или нет. Она вспомнила усмешку в его губах, когда он излагал в своем кружке возражения Энгельса Дюрингу. Чего доброго, он, может быть, даже – идеалист!

И Лелька ответила неохотно:

– Если так рассуждать, как ты, то придется принимать в вузы все классово чуждые элементы. Каждый папаша считает своего сынка гением.

Бася замолчала. Потом улыбнулась деланно:

– Как хорошая комсомолка, ты все это должна бы заявить, когда меня будут чистить. Поговаривают, что будет генеральная чистка всех партийцев.

Лелька обиделась.

– Что ты говоришь? За кого ты меня считаешь?

Бася нервно провела ладонями от висков по щекам.

– Я бы сочла своим долгом сказать. Ну, да спасибо.

Она молча заходила по комнате. Взглянула на часы в кожаном браслете. Потом сказала коротко и решительно:

– А теперь вот что. Пора тебе уходить. Я жду к себе своего парня.

Какого это парня? В личной жизни Бася была очень скрытна. Лелька знала только, что парни у нее меняются очень часто, что у нее было уже пять аборт.

Лелька шла по пустынной Второй Гражданской улице. Тихая облачная ночь налегла на поселок, со стороны Москвы небо светилось неугасающим заревом. Лелька думала о том, что вот и Бася оказалась небезупречной. Это очень печально. Насчет Арона, конечно. Насчет парней – это ее дело. Может быть, слишком уж у нее все это просто, но, кажется, тут есть общий какой-то закон: кто глубоко и сильно живет в общественной работе, тому просто некогда работать над собою в области личной нравственности, и тут у него все очень путанно... Но Арон! Эх, Баська, Баська!

От глубокой снежной тишины было жутко. В сугробе под забором чернело что-то большое. Чернело, шевелилось. Пьяный? Поднялся было на руках человек, опять упал. Пьяный-то словно и пьяный, а только слишком как-то все странно у него. Небо низко налегло на землю. Выли собаки.

Одолевая жуть, Лелька подошла к сугробу. Человек уже лежал неподвижно, боком. Лицо было очень странное, – как будто все залито чернилами. Пьяный вылил себе на голову чернильницу? Или кто запустил в него ею? И вдруг Лелька вздрогнула: не чернила это, а кровь! Да, кровь!

Лелька наклонилась. Кепка валялась в снегу, густые волосы слиплись от крови, и кровью было залито лицо. Лелька тихо застонала: это был Юрка.

Оступаясь в колеях дороги, она побежала искать телефон, чтобы вызвать карету скорой помощи.

* * *

История с Юркой взволновала весь комсомол. В партийной ячейке шли возмущенные разговоры о том, что ребята в комсомоле совсем распустились, развиваются прогулы, хулиганство, рвачество, никакого отпора этому не дается, воспитательной работы не ведется. Секретаря комсомольской ячейки Дорофеева вызвали в райком и здорово намылили голову.

Решено было устроить тут же, на заводе, общественный показательный суд над Спирькой, избившим Юрку, и над Царапкиным. Придать суду самый широкий агитационный характер. Ребята энергично взялись за осуществление этого решения.

* * *

Суд был назначен в клубе, в комнате № 28. Пришел председатель суда, рабочий-каландровожатый Батиков, старый партиец, коротконогий человек с остриженной под машинку головой и маленьким треугольничком усов под носом. Пришли двое судей – галошница и рабочий из мелового отделения. Народ все валил и валил. Валила комсомолия, шло много беспартийных. Пришлось перенести суд в зрительный зал и для этого отменить назначенный там киносеанс.

Судьи уселись на эстраде за красным столом. Тут же сбоку сел и секретарь суда – служащий из расчетного стола. Председатель вызвал Спиридона Кочерыгина.

Спирька легким прыжком физкультурника мимо лесенки вскочил на эстраду.

- Ты – Спиридон Кочерыгин?

- Ага!

- Садись.

Спирька сел и, посмеиваясь, переглянулся с приятелями. Он внутренне волновался, но держался спокойно и самоуверенно. Кудреватая гривка над низким лбом, ярко-зеленый джемпер на русской рубашке.

Председатель стал читать Юркино заявление, написанное Лелькою. В грамоте разбирался он плохо, но непременно хотел читать сам, секретарю не давал, хотя тот и пытался взять у него бумагу.

- Когда мы пришли кы... кы... к етому гражданину, то... э... э...

В следующем слове долго разбирался, секретарь заглянул, подсказал:

- ...то оказалось...

И хотел читать дальше. Но председатель отобрал бумагу. Спотыкаясь и замолкая, дочитал сам.

Спирька слушал, левую руку уперши в бедро. Правый локоть он положил на стол, руку вверх, и все время машинально сжимал и разжимал кулак.

Председатель кончил читать, вопросительно поглядел на публику.

- Понятно вам заявление? Может, повторить?

Событие все и без того знали. Ответили:

- Понятно.

Председатель удовлетворенно сел и сказал обвиняемому:

- Обвинение мы тебе прочли, а ты выкручивайся. Только говори всю правду, потому что ты не должен терять своего авторитета перед публикой... Так вот и расскажи нам, красота моя, как это случилось, что ты товарища своего избил, – за какие дела, за какую обиду?.. Только одну еще минуту подожди. Вот что скажи мне: раньше судился когда?

- Нет.

Из публики голос:

- Как – нет? А три месяца принудилки?

Спирька неохотно протянул:

- Ну да... Было три месяца.

- За что?

- Забыл.

- Забыл, за что дали три месяца!

- А я все буду говорить!

- Обязательно! Суд от вас этого требует.

- Просто сказать, драка была небольшая, взаимная. Несправедливо осудили, ни за что.

- Гм! Какой непролетарский судья! Надо про него написать в РКИ^[18], какой у него неправильный подход к рабочим.

Спирька усмехнулся и опять переглянулся с приятелями. Председатель строго сказал:

- Слушай! Если я смеюсь, то я смеюсь серьезно. И серьезно я тебя спрашиваю: за что судили?

- Ну... за хулиганство.

И Спирька снова усмехнулся.

- Вы чего смеетесь? Я очень смешной или грязный? Мне бы легче было, если бы вы надо мною смеялись. А вы на три месяца принудиловки смеетесь, это плохо... Вы что,

комсомолец?

- Да.

- Что же тебе в ячейке сказали за твое осуждение?

- Сказали, что плохо.

- Только и всего?

- Ну да! А то что же, скажут: «хорошо»?

Председатель вздохнул.

- Если мы все тут будем работать на принудилровке, - как ты думаешь, мы пятилетку тогда в четыре года сделаем? Нет, брат, тогда придут генералы, а ты перед ними будешь стоять под конвоем.

Выяснилось из сообщений присутствовавших, что у Спирьки еще одна была судимость - месяц принудительных работ. Да еще три привода в милицию.

- А выговоры тебе по заводу были?

- Не помню.

- Как же не помнишь?

- Все помнить!

Председатель заглянул в дело.

- Видимо нам из справки, что у вас по распоряжениям проведено шесть выговоров. Знаете ли вы, как такое дезертирство труда отзывается на производстве?

- Не знаю.

- Почему вы такой глупый, что не знаете? Так я вам тогда скажу, что с дезертиром рабочий класс не считается и увольняет за это. Кто не хочет участвовать в нашем великом строительстве, того мы, рабочие, заставляем работать из-под палки там, где комаров много... Ну вот, суммируя обо всем вышесказанном, скажи мне: две судимости, шесть выговоров, три привода в милицию, - вот все это, вместе собранное: все это была ложь, или сам ты был виноват? Зря тебе все это припаяли?

Спирька разжал кулак, заглянул в него, сжал опять и неохотно ответил:

- За дело...

- А три месяца принудилровки?

- Тоже не зря. - И вдруг сверкнул глазами в пушистых ресницах. - Ты меня присуждай, к чему надобно, а жил из меня не тяни!

В зале захохотали. Председатель хитро усмехнулся.

- Мы тебя, милый, может, ни к чему даже и не присудим, нам не это важно есть, А важно нам выяснить тебя перед всеми, каков ты нам есть товарищ и гражданин пролетарского государства. И мы тебя начали уж немножко больше понимать, - от одних вопросов о твоей прошлой жизни. Теперь можно приступить к делу. Потерпевший... э... э... Георгий Васин. Выходи сюда, садись вот тут.

Юрка с головою, забинтованною марлею, поднялся по лесенке на эстраду. Спирька с глубоким презрением оглядел его и отвернулся. Юрка побледнел под этим взглядом. С страдающим лицом он сел на другом конце стола.

Председатель обратился к Спирьке:

- Вот теперь ты нам расскажи, все по порядку, за что ты товарища своего избил, за какие его дела.

- Просто пьяная драка была, больше ничего. А здесь из моськи сделали слона.

- А этого слона, - из-за чего его сделали? Вот ведь меня ты сейчас не бьешь. Из-за чего-нибудь драка вышла же у вас.

- Не помню.

- А вот тут в заявлении сказано, что ты перед дракой, три дня тому обратно, грозился, что ему даром не пройдет чегой-то такое. За что ты ему грозился?

- Мало ли что говорится. Это я тогда просто с сердцов сказал, без всякой последовательности.

- А за что ты ему тогда сказал? За что гадом назвал?

Спирька сверкнул глазами.

- Не по-товарищески поступил.

- А в чем был этот поступок нетоварищеский?

- Пришел на квартиру ко мне пронюхивать, почему на работу я не вышел. Что он, администрация, что ли? А были приятели, сколько вместе гуляли!

- Вот. Ты прогулы делаешь, вредишь этим производству. А чье теперь производство, знаешь? Капиталистов каких-нибудь, буржуазии, али рабочего государства? Отвечай мне.

- Ну, ясно: рабочего государства.

- Значит! Делая эти прогулы, ты у нас называешься дезертир труда. Ты знаешь про нынешнюю железную дисциплину труда? Мы раньше воевали с капиталистами, а теперь

за лучшую нашу долю воюем с дисциплиной труда. Мы железно боремся на работе по труддисциплине! И всякого, кто за это борется, надо не гадом называть, а называть строителем социализма.

Спирька молчал, разжимал кулак, заглядывал в него и опять сжимал.

Председатель вздохнул.

- Плохо, красота моя, плохо!.. Ну, теперь потерпевший пусть нам расскажет, как что было.

Юрка смотрел угрюмо.

- Все в заявлении прописано. Что рассказывать!

- Сколько тебя человек било?

- Не один, конечно. Три-четыре. А то бы я дался?

- Узнал их в лицо?

- Спиридона вот узнал.

- А других?

Из других тут же в первом ряду сидели рамочник Буераков и съемщик Слюшкин. Они с выжидающей усмешкой глядели на Юрку. Юрка с отвращением ответил:

- Других не узнал.

Председатель обратился к Спирьке:

- Кто это вместе с тобою работал, молодец?

Спирька с вызовом ответил:

- Не знаю.

Председатель повысил голос.

- Как я тебя спрашиваю по общественности, то ты мне отвечай по пролетарской совести, ты передо мною ничего не должен скрывать!

Повысил голос и Спирька.

- Что я, товарищей тебе стану выдавать? Не дожدهшься! Присуждай на три года изоляции, а доносчиком на товарищей не буду!

Он сказал это горячо и резко. В разных концах зала раздались рукоплескания, в ответ на них - властно-громкое шиканье, и рукоплескания робко упали.

Председатель встал.

- Ну, товарищи, давай, оценивай. Какое общественное мнение, какой суд нужно применить к этому парню?

Лелька сказала:

- Позвольте мне.

- Сюда взойдите.

Лелька поднялась на эстраду, взошла на трибуну.

- Ребятки! Я видела вот этого нашего товарища лежащим ночью в снегу, под забором, с разбитой головой, без чувств. Был мороз. Переулок глухой. Если бы я случайно не проходила мимо, парень замерз бы. За что же его избили и бросили подышать на морозе его товарищи, за что присудили к смерти? За то, что он честно исполнил долг пролетария и комсомольца, что он болел душою за производство, что повел большевистски-непримиримую борьбу с лодырями и прогульщиками, не глядя на то, приятели это его или нет... Юрка! Мне самое больное из того, что я здесь вижу, - это то, что ты сидишь как будто обвиняемый, что ты опускаешь голову и не смеешь взглянуть на мерзавцев, которые продают наше рабочее дело, которые пытались проломить тебе голову за то, что ты не хочешь их покрывать. Верь, Юрка, все мы, комсомольцы, все сколько-нибудь сознательные рабочие, - мы все за тебя. Выше голову, гордо подними ее, ты честно делаешь свое дело! И прими от меня горячий товарищеский привет!

Она охватила руками шею остолбеневшего Юрки и жарко поцеловала его. Спирька вздрогнул, выпрямился, кулаки его машинально сжались. Зал загремел рукоплесканиями. Девчата хлопали, смеялись, приветственно махали Юрке кистями рук и платками, кричали:

- Юрка! Не робей! Дерись и вперед за производство! Молодец, парень! Не отступай!

Тепло и весело стало в зале, все почувствовали себя как-то дружнее. Спирька сидел растерянный и недоумевающий, исподлобья поглядывал на девчат.

Взошел на трибуну Гриша Камышов, секретарь ячейки вальцовочного цеха, длиннолицый, с ясными глазами. Он сказал:

- Товарищи! Должен я вам сказать вот какую истину: плохо у нас в комсомольской ячейке обстоит дело с воспитанием товарищей. Нет у них правильной идеологии, мало у них осознана классовая борьба, и нет настоящей поддержки правильным стремлениям. Подумайте, как это могло случиться? Вот сидит гражданин и воображает себя героем, пострадать готов, чтобы не выдать товарищей. И ему в зале хлопают, одобряют его геройство! И никто не втолковал ему, что делает он не геройство, а - подлость, что он

такими поступками становится себя в ряды наших классовых врагов! И вот какая оказывается перед нами горькая истина: этот гражданин, который так внимательно все заглядывает за чем-то в свой кулак (смех), этот гражданин до самой сегодняшней поры был комсомольцем и черное дело свое делал с комсомольским билетом в кармане. Конечно, вряд ли мы его потерпим в нашей среде...

Спирька презрительно бросил:

- Сам уйду!

Председатель строго сказал:

- погоди! Не прерывай! Твоя речь впереди. Продолжай, товарищ.

- Продолжать нечего, я все сказал. Только повторяю то, что сейчас говорила Лелька Ратникова. Ты, Юрка, как видно, хороший парень, а хороших дел стыдишься, не понимаешь до сих пор той истины, что прогульщик, все равно что и рвач, - не товарищ нам, а классовый враг, и с ним нужна - беспощадность!

Председатель оглядел публику:

- Желает еще кто высказаться? Защищайте его, кто с ним согласен, не стесняйтесь. Высказывайте свою генеральную линию. Правильно сейчас сказал товарищ, - ведь хлопали ему. Вот и выскажитесь. Поспорим, выясним, кто прав.

Но никто не выступил. Чувствовалось, что многие за Спирьку, но не было привычки защищать на собраниях неодобренные взгляды. Настоящие споры должны были начаться потом, в курилках и столовках. Только один пожилой рабочий сдержанно заявил:

- Имейте в виду, товарищи судьи, его семейное положение, когда будете постановлять приговор. Отец у него пьяница и хулиган, бросил семейство, мать из сил выбивается, трое ребят невзрослых.

- А он матери помогает?

- Помогает.

Председатель немножко мягче обратился к Спирьке:

- Ну, говори теперь ты. Защищайся, оправдывайся, сколько можешь.

Спирька угрюмо ответил:

- Что ж оправдываться? Побил, не отрекаюсь.

- Нам этого мало. Мы, конечно, можем выгнать тебя с завода и закатать на принудительные работы. Но нам от этого никакой сладости не будет. Я бы тебя призвал исправиться, стать парнем на ять, подучиться, узнать, что такое пятилетка. Ты мог бы быть первым на заводе, ведь ты - парень молодой, красота смотреть, господь тебя, если бы он существовал, наградил мускулатурной силой... Что ты обо всем этим подумываешь? Даешь нам слово исправиться?

Спирька мрачно сказал:

- Ну, ясно. Даю.

И опять, забывшись, поглядел в кулак.

Председатель помолчал, потом сказал:

- Будем кончать.

Трое судей и секретарь наклонили головы и стали шушукаться, потом секретарь побежал пером по бумаге. Председатель встал и, спотыкаясь на трудно разбираемых словах, огласил приговор, - что обвиняемый подлежал бы за свою антипролетарскую деятельность увольнению с завода и хорошей изоляции, - но!.. - суммируя семейное положение гражданина Кочерыгина и его обещание исправиться, то посему объявить ему общественное порицание и строгий выговор с предупреждением.

* * *

Потом без перерыва начали второе дело.

Опять председатель сам прочел заявление, спотыкаясь и экая. В заявлении было сказано, что комсомольская ячейка привлекает к товарищескому рабочему суду Василия Царапкина за нарушение производственной дисциплины и рвачество.

Председатель вызвал:

- Василий Царапкин.

Медленно поднялся на лесенке Царапкин, в ярком галстучке и в лакированных туфлях на зеленых носочках. Громким голосом он сказал:

- Заявляю суду, что я законным порядком изменил свое имя и фамилию, что меня теперь зовут не Василий Царапкин, а Валентин Эльский.

Хохот покатылся по залу. Улыбнулся и председатель. Царапкин вспыхнул и еще громче, покрывая смех, крикнул:

- Я протестую против такого насмешливого отношения к законному постановлению

нашей советской власти и прошу председателя призвать публику к порядку.

Председатель сделал серьезное лицо и сказал:

- Она сама в порядок придет... Ну, слышал заявление, понял, в чем тебя обвиняют?

- Ничего не понял.

- Значит, надобно, чтоб тебе это было объяснено. Товарищ Броннер, взойди к нам сюда и объясни, в чем этот парень проштрафился перед рабочим классом.

Бася быстро взошла на трибуну.

- Товарищи! Наш товарищеский и вообще наш пролетарский суд отличается от буржуазного суда прежде всего тем, что в привлечении к суду он руководствуется здравым смыслом, а не какими-то там параграфами законов. Нет в законе такого параграфа, по которому мы могли бы привлечь к суду товарища Царап... Извиняюсь, товарища В-а-л-е-н-т-и-н-а Э-л-ь-с-к-о-г-о (смех). И все-таки он глубоко виновен перед рабочим классом, виновен как рабочий и как революционер-комсомолец...

И Бася рассказала, как Царапкин намеренно медленно работал, стараясь удлинить все операции и тем сделать неверным весь хронометраж.

Председатель взглянул на Царапкина.

- Ну, милой, понял ты, в чем тебя обвиняют?

Царапкин презрительно отозвался:

- Теперь понял. - И заговорил уверенным, привычным к выступлениям голосом: - Чтобы заниматься хронометражированием какой-нибудь работы, нужно эту работу понимать. Товарищ Броннер нашей работы не знает, ничего в ней не понимает и, когда я работаю добросовестно, обвиняет меня в предательстве рабочего класса.

И опять он стал говорить о необходимости тщательной работы, о большом браке, который получается оттого, что присохший к колодке лак загрязняет резину галоши.

Со всех концов зала раздались голоса галошниц:

- Это верно. Всего больше от этого брак.

Согласилась и Бася.

- Да, верно. А скажи-ка ты мне, Царапкин, сколько ты в месяц вырабатываешь?

- Это тут ни при чем, сколько я зарабатываю.

- Ну, все-таки?

- Ну... Рублей двести.

- А сколько в день отлакируешь галош?

- Пар семьсот. Приблизительно по сотне в час.

- Та-ак... - Бася вынула свои записи. - Вот. Я твою работу подробно записала, как будто не заметила, что ты дурака валяешь. И выходит, что при такой работе, какую ты делал передо мною тогда, ты в день отлакируешь никак не больше трехсот-четырёхсот пар. Ты сам себя, Царапкин, обличил. Стыдись!

Царапкин покраснел и молчал.

- Может, ты неправильно записала.

- Го-го! - В зале засмеялись.

- Нет, не беспокойся. Запись самая правильная.

Председатель сказал:

- Ну, так как же... Валентин Эльский? (Каждый раз весь зал начинал смеяться.) Дело-то твое, Валентин, выходит неважное. Нужно будет тебе подумать над своею жизнью. Видал, сейчас на этом же твоём месте сидел парень, - как, хорош? Оба вы не хотите думать о социалистическом строительстве и о пятилетке. Раньше был старый капитал, при котором один хозяин сидел в кабинете и над всем командовал...

Царапкин слегка усмехнулся.

- Чего смеешься?

- Ты о политике?

- Да! О политике!

- О политике я и сам скажу.

- Ты помолчи, я еще много буду говорить о политике... Так могло быть при старом капитале, который мы обворовывали, а того больше - он нас обворовывал. А теперь какой у нас строй? Вот ты говоришь, что в политике смыслишь, - скажи.

- Скажу.

И бойко, без запинки, Царапкин стал говорить о том, что сейчас у нас хозяином всего является рабочий класс, что теперь нет, как прежде, эксплуатации рабочих, что теперь подъем хозяйства выгоден для самих рабочих.

- Правильно. Ну, я тебе сказал про старый быт, ты нам - про новый. Какую же политику нам нужно вести?

Царапкин опять усмехнулся и бойко, как первый ученик на экзамене, заговорил о необходимости рационализации производства, увеличения производительности труда,

снижении себестоимости.

Председатель слушал и растерянно глядел. Когда Царапкин кончил, он сказал в раздумьи:

- Правильно ты все это говорил, а слушать тебя было как-то... огорчительно. На тебя, я примечаю, какие-то особенные нужны слова, контрольные. Наши слова ты все и сам знаешь. - Он вздохнул. - Плохо, парень, то, что слова-то наши ты знаешь, а вот пролетарских чувств наших не знаешь, даром, что сам пролетарий... Ну, товарищи, кто желает высказаться?

Бася, задыхаясь от негодования, ринулась на трибуну.

- Я думаю, товарищи, все вы испытываете то же чувство омерзения, какое испытала я, слушая этого горе-комсомольца...

Девчата-комсомолки бешено захлопали и закричали:

- Правильно!

Бася бурно продолжала:

- Да! Слова наши он все знает, - верно сказал председатель. Но то, что в этих словах для нас горит огнем, полно горячей крови, трепещет жизнью, - все это для него погасло, обескровилось, умерло. стыдно было слушать, когда он мертвым своим языком повторял те слова, которые нам так дороги, так жизненно близки...

- Правильно! Правильно!

Ребята яростно хлопали, еще пуще хлопали девчата и среди них Лелька.

- Какое бесстыдство! Какой цинизм! Вы заметили, как он подленько усмехался, когда произносил всем нам такие дорогие слова? Уж одним этим он себя не меньше обличил, чем своим враньем, что будто бы работал при мне так медленно, чтобы лак не попал на колодку... Товарищи! Сейчас у нас начинается великая стройка, рабочий класс должен напрячь все силы, себя не жалея, чтоб у нас установился социализм. А этот вот рвач дрожит только над одним, - как бы ему не повысили норму, как бы ему не потерять ни рублика из своих двухсот рублей в месяц... Двести рублей, а? Недурно, товарищи?

- Очень даже недурно!

Мужской голос:

- А тебе завидно?

Бася продолжала:

- И он недурно эти двести рублей умеет проживать. О, очень даже недурно! Я вам расскажу...

Под общий хохот она рассказала о своем посещении Васеньки на дому, о никелированной кровати и голубом атласном одеяле и о двух больших портретах на стене - Владимира Ленина и Валентина Эльского.

Хохот катался по всему залу. Царапкин сидел злой и красный. А Бася рассказывала, как он ей проповедывал, что сейчас задача сознательного рабочего - заводить себе лучше обстановку, получше кушать и покрасивее одеваться.

- Вот как он понимает призвание сознательного рабочего в наше грозное, трудное и радостное время! Посмотрите на эти лакированные ботинки и зеленые носочки: вот тебе высокая боевая цель, рабочий класс!

Долго комсомолка аплодировала, волновалась и переговаривалась. Потом взошел на трибуну худощавый парень с бледным лицом, - его Лелька мельком видела в ячейке. Говорил он глуховатым голосом, иногда не находя нужных слов. Брови были сдвинутые, а тонкие губы - энергичные и недобрые.

- Царапкин! Помнишь, четыре года назад мы вместе с тобой поступили на завод. И в одно время с тобой мы, значит, вступили и в комсомол. Получали мы тогда шестьдесят рублей в месяц. И тогда ты не думал, так сказать, о зеркальных там разных шкафах и другом барахле. Ты был дельный парень, активный, хорош ты был тогда и Васькой Царапкиным, не надо было тебе, понимаешь, перекрашиваться в Валентина Эльского. Но я не об тебе хочу сейчас заострить вопрос. От тебя происходит определенное впечатление: ты стал предателем рабочего класса, с тобой нужно бороться и стараться тебя уничтожить. А вот, товарищи, в какую сторону я ударил свое внимание, когда слушал всю процедуру над этим здесь гражданином. Молодой парень, одинокий, - правильно ли, что он получает двести рублей в месяц?

Публика в недоумении задвигалась. Раздались голоса:

- Заливает!

- Заболтался! Видно, сам мало получает, вот и завидно стало.

- ...я говорю и, значит, повторяю. Старый рабочий; у него, понимаешь, семья в пять-шесть человек, не на что даже ребятам ботинки купить. Получает же столько, сколько молодой, одинокий. А этот вон на что денежки тратит, - на атласные одеяла да вон на эти туфельки лаковые.

Старый рабочий в грязной блузе, в какой был на работе, вскочил с места и заговорил взволнованно:

- Правильно, товарищ Ведерников! Больно много молодые получают, нельзя терпеть такого безобразия. Сокращать их надо в норму. Жарь, Афонька! Правильно!

Но другие возмутились и зароптали. Неслись выкрики:

- Об других легко говорить!

- Сам себе свое жалованье сократи!

- Сколько сам получаешь, ну-ка, скажи!

Ведерников, строго сдвинув брови, спокойно переждал шум.

- Сокращать вовсе незачем, но я совсем не к тому, - сказал он. - А вот я к чему, вот какая мне, так сказать, мысль пришла в голову. Мы, понимаешь, все - рабочие, товарищи друг другу, работаем на одном заводе, на одном деле. А выходит, - одни, - как нищие, а другие (он указал на Царапкина) - в туфельках. Правильная ли это сортировка? Нет, неправильная. Ведь мы - коммунисты. «Коммун» по-латыни значит «общий». Вот бы и нужно, чтобы весь заработок всех рабочих на всех шел, не делить на каждого. А кому, понимаешь, сколько надобно на дело, тому столько и выдавать. Чтобы всем ребятам ботинки были, а чтоб у Царапкина зеркального, значит, шкафа не было.

Лелька в восхищении крикнула:

- Ой, ч-черт! Здорово!

Ей очень понравилось это предложение. И вся комсомолия всколыхнулась. В то время идея подобных производственных коммун была еще внове, в газетах об ней не писали, и она в тот вечер самостоятельно зачалась в голове Афанасия Ведерникова.

Заговорили за и против, заволновались. Председатель спохватился и сказал:

- Товарищи! Этот вопрос очень важный, надобно заострить его по всей норме. Но только сейчас мы больно далеко заедем с этим в сторону. Давайте поворотимся к делу... Никто больше не может сказать о деле?

Судья, сидевший направо от председателя, сказал:

- У меня вопрос. Кто ваши родители?

Царапкин ответил:

- Отец умер, до самой смерти работал в трубном отделении. Мать галошница.

Из публики сомнительно спросили:

- А не из чиновников ли?

Председатель обратился к обвиняемому:

- Ну, Царапкин, твое теперь слово. Фигурируй как можешь!

Царапкин встал, откашлялся и торжественно сказал:

- Сознаю свою вину и говорю это открыто, по-большевистски. Признаюсь, что нарочно замедлял работу при наблюдении хронометражистки. Я понял свою ошибку и даю слово честного комсомольца раз навсегда исправиться! И если мне будет осуждение, признаю, что я его заслужил.

Председатель удовлетворенно сказал:

- Вот этак-то сейчас у тебя лучше выходит... Ну что ж, можно теперь и это дело кончать.

Опять судьи наклонились друг к другу и зашептались. Встал председатель и прочел приговор: за несознательное отношение к производству и за попытку ввести в заблуждение хронометраж объявляется ему общественное порицание с опубликованием в местной заводской газете.

* * *

Суд кончился. Судьи ушли, также и взрослая публика. Но девчата и парни долго еще волновались и спорили. Царапкин в кучке девчат ярко доказывал свою правоту: всякий рабочий имеет право на культурную жизнь; это позор и насилие - не позволять рабочему-пролетарию жить в советской стране так, как уже давно живут пролетарии даже в капиталистических странах - в Западной Европе и Америке. Если рабочий весь свой заработок пропивает, валяется под забором в грязи, то он - наш, свой! А если он вместо этого покупает шкаф с хорошим зеркалом или мягкую кровать, то он - буржуй, изменник рабочему делу!

Девчата возражали, но скоро все от него отошли, сказав:

- Нет, Васька, все-таки тебя нужно исключить из комсомола. Буржуйчик ты. Пижончик называешься, жоржик!

Большая толпа была вокруг Ведерникова и Гриши Камышова. Спорили о брошенной Ведерниковым мысли насчет общего заработка. Камышов ему возражал:

несвоевременно. Лелька с одушевлением защищала идею Ведерникова.

Гурьбою вышли из клуба и продолжали спорить. Была тихая зимняя ночь, крепко морозная и звездная. Очень удачный вышел суд. Всех он встряхнул, разворошил мысли, потянул к дружной товарищеской спайке. Не хотелось расходиться. Прошли мимо завода. Корпуса сияли бесчисленными окнами, весело гремели работой. Зашли в помещение бюро ячейки.

И там продолжали спорить. Лельке очень понравился Ведерников. Гордые глаза, презрительно сжатые, энергические губы – настоящий пролетарий. И это милое «понимашь». И согласна она была как раз с ним, и спорила в его защиту. Но он пренебрежительно пробегал по Лельке взглядом и не обращал на нее никакого внимания. Это больно задевало ее. Юрка, с забинтованной головой и счастливым лицом, все время старался держаться поближе к Лельке.

Сидя на столе и покуривая трубку, Камышов говорил Ведерникову:

– Вот я тебе скажу такую истину: много народу ты сейчас на этом деле не собьешь, – слишком новое дело. И притом – утопизм, неправильная постановка: обобществлять зарплату, не считаться ни с квалификацией, ни с производительностью труда, – эти уравнилельные тенденции надо оставить. Не все такие хорошие, как мы с тобою. Пойдут склоки, неудовольствия...

Он говорил, глядя ясными глазами, и по губам пробегала весело-насмешливая улыбка. Лелька с обидой заметила, что он, кажется, умнее Ведерникова, тверже разбирается в вопросах и начитаннее. Камышов продолжал:

– А в этом, ребята, нужно нам сознаться. Закисаем мы, все больше всасываемся в болото, живем изо дня в день, без всякой яркой цели впереди, без настоящей коллективной работы. А кругом все идет черт те как: процент брака вполне неприличный, производительность труда плохая, прогулы растут. Вот на что нам нужно заострить внимание. Твое дело, Афоня, не уйдет, – в свое время надобно будет и его взять за жабры, конечно, с поправками. А сейчас вот что, по-моему, нужнее всего. Отчего бы нам не организовать ударный молодежный конвейер и взяться за это вплотную всему нашему активу. С энтузиазмом! Чтобы яркий огонек загорелся в рабочей массе.

Все замолчали. Совсем что-то новое встало и неожиданное. Соображали. Камышов продолжал:

– Ударный конвейер в галошном цехе. Я в вальцовке свой каландр сагитирую, на вальцах Юрка будет ударяться. Как ты, Юрка?

Юрка с восторгом воскликнул:

– Ну, ясно!

Раздумчиво зазвучали медленные голоса:

– Пра-виль-но.

– Это хорошо.

Лельке жалко было отказаться от идеи Ведерникова, но предложение Камышова и ей понравилось больше: живая работа вместе, спаянность общию целью, стальная линия вперед.

И всем это понравилось гораздо больше, даже самому Ведерникову. Воодушевились. Стали обсуждать, как все это устроить, в подробностях намечали план. И надолго у всех осталась в памяти накуренная комната ячейки, яркий свет полуваттной лампы с потолка, отчужденные морозом узоры на окнах и душевный подъем от вставшей перед всеми большой цели, и ясная, легким хмелем кружащая голову радость, когда все кругом становятся так милы, так товарищески дороги.

Так, совсем как будто нечаянно, кривым путем – из удавшегося суда, из душевного подъема, вызванного общими переживаниями на суде, – родилась первая молодежная ударная бригада на заводе «Красный витязь».

* * *

Лелька пришла к себе поздно, пьяная от восторга, от споров, от умственного оживления, от ярких просторов развернувшейся перед нею большой, захватывающей работы. Поставила в кухне на примусе кипятить чайник, а сама села на подоконник итальянского окна, охватив колени руками, – она любила так сидеть, хотя зимою от морозных стекол было холодно боку.

Сидела она и думала о том, как хорошо жить на свете и как хорошо она сделала, что ушла из вуза сюда, в кипящую жизнь. И думала еще о бледном парне с суровым и энергическим лицом. Именно таким всегда представлялся ей в идеале настоящий рабочий-пролетарий. Раньше она радостно была влюблена во всех почти парней, с

которыми сталкивалась тут на заводе, – и в Камышова, и в Юрку, и даже в Шурку Щурова. Теперь они все отступили в тень перед Афанасием Ведерниковым.

Только почему он все время с таким пренебрежением глядел на нее?

* * *

Выбрали инициативную тройку для организации ударного конвейера. Вошли в нее Бася, Лиза Бровкина и Ведерников. Партийная ячейка отнеслась к начинанию молодежи благодушно, но без особенной активности, администрация – с полнейшим равнодушием и даже с легкой насмешливостью. Инженер галошной мастерской сказал:

– Не завалите работы? Ну, делайте. А если что, – вы мне ответите.

Если над водою, сидя в лодке, держать зажженный факел, то с разных мест, – из заводов, из-под коряг, из темных омутов, – отовсюду потянутся к свету всякие рыбы. Так из гущи рабочей молодежи завода «Красный витязь» потянулись на призыв ударной тройки те, кому надоело вяло жить изо дня в день, ничем не горя, кому хотелось дружной работы, озаренной яркою целью, также и те, кому хотелось выдвинуться, обратить на себя внимание.

Желающих явилось больше чем нужно. Ударная тройка отбирала тех, кто был получше в работе. Необходимо было прикрепить к конвейеру и Басю: она и работница была прекрасная, и великолепный организатор в качестве члена тройки, – ее наметили бригадиром. Но Бася уже не работала на галошах. С большими усилиями, с вмешательством партийной ячейки удалось добиться, чтобы администрация временно освободила ее от хронометража.

И еще встал вопрос: кого в групповые мастерицы? Важно, чтоб она была подходящая и опытная. Долго не могли наметить. Тогда Лелька предложила Матюхину, – мастерицу, у которой она обучалась работе при поступлении на завод. Как?! Старуху? Нужно, чтоб и мастерица была комсомолка! Что же это будет за молодежный конвейер? Но у всех, кто знал Матюхину, лица зацвели улыбками.

– Матюхину! Лучше не найти! Дело вот как знает. И за производство болеет, как за родного ребенка.

Выцарапали у администрации и Матюхину. Этого добился Ведерников, который умел разговаривать с администрацией напористо.

Две-три недели ушли на организацию. Наконец все было готово. Сказали друг другу:

– Ну, ребятки, держись! Чтобы не осрамиться!

И начали работу.

* * *

Могучий и мягкий, как львиная лапа, ревет гудок над просыпающимся поселком и всем возвещает:

«Вставай! Собирайся! Через полчаса – начало работы».

К заводским калиткам уж начинают сходить работники, хотя пустят на завод только еще через двадцать минут. У одной из калиток девчата с ударного конвейера. С каждой минутой их подбирается все больше. Взволнованно глядят, кого еще нету. Очень беспокоятся. Первый пункт их обязательства – спустить опоздания и прогулы до нуля. А многие живут в городе, трамвай № 20 ходит редко, народу едет масса. Если не слишком нахален, ни за что не вскочишь.

Ежятся на утреннем холоде, топают ногами.

А в залах галошного цеха уже расхаживают групповые мастерицы и материальщицы, все подготавливая для работы. Мастерица ударного конвейера, товарищ Матюхина, быстро раскладывает по длинному столу конвейера кожаные нагрудники и нужные для каждой операции инструменты: ножи, ролики, штитцеры с зубчатыми колесиками. Матюхина, невысокая, курносая, с старообразным лицом, одета, как все мастерицы, в фиолетовый халат с малиновыми отворотами. Тихо. Ленты конвейера неподвижны, бесшумно ползет вдоль стены гигантский транспортер. Тихо. Только гудят электрические вентиляторы, и звякают иногда металлические колодки, бросаемые колодочниками в большие ящики в начале конвейеров.

Заревел второй гудок. Густыми потоками полились девчата из проходов в залы цеха. Все вокруг ожило. Болтая и пересмеиваясь, девчата рассаживались по местам на высоких, вертящихся круглых табуретках. Повязывали вокруг пояса кожаные коричнево-желтые нагрудники. Это было красиво: как будто корсажи; и бюсты всех девушек как будто делались полными. Надевали на пальцы обеих рук матерчатые колпачки, зубами

завязывали тесемки. Не спеша усаживались, поудобнее раскладывали вокруг себя инструменты и материал. Лениво разговаривали, пересмеивались.

Заревел снаружи третий гудок, долго и непрерывно зазвонили звонки в цехах. Лента конвейера задвигалась, и первая колодка с надетой на нее подкладкой поплыла на ленте. За нею вторая, третья. Ближайшие работницы срывали их с ленты, накладывали стельку, обминали по краям, быстро закатывали роликом, ставили колодку опять на ленту, и колодка плыла дальше. Постепенно одна лениво двигавшаяся фигура за другою хватала с ленты подплывавшую колодку и размеренными, бешено-быстрыми движениями начинала работать. Все чаще и чаще становился грохот колодок и роликов о железные настилы столов, – как будто стальные мячики редким, начинающимся летним дождем били по железной крыше.

И все новые фигуры втягивались в кружащий голову вихрь работы. Через двадцать минут уже весь конвейер кипел работой. И все другие конвейеры тоже. Грохотали удары роликов и колодок, со звенящим стуком падали колодки в ящики, гудели вентиляторы; иногда, как развернувшиеся бичи, воздух резали разбойничьи свисты парней резерва, гнавших вагонетки: свистели, засунув два пальца в рот, чтоб сторонились. Над бесконечными столами конвейеров наклонялись и поднимались девичьи головы, быстро двигались руки и локти, а в середине, на ленте, бежали и бежали вперед все обраставшие частями колодки.

Лелька работала на бордюре. Рядом с нею, на резине, работала Зина Хуторецкая; прозвание ей было: Зина-на-резине. Некрасивая, худая, с нездорово-коричневым лицом и стриженными, невьющимися волосами. Часто покашливала коротким кашлем. Любила бузить, дурила, смеялась, особенно с парнями; когда они возились с нею и крутили ей руки, она блаженно смеялась и смотрела влюбленно-угодливыми глазами. Но славная была девчонка, и одна из первых записалась в ударную бригаду.

Звонок. Ленты конвейеров остановились. Десятиминутный перерыв. Девчата спешно заканчивали начатую колодку и бросали работу: одним из пунктов ударного устава строго воспрещалось работать в перерывах. Бежали в уборные, в столовку выпить чаю, на медпункт взять порошок от головной боли или принять валерианки.

Зина-на-резине несколько минут сидела неподвижно, сгорбившись и свесив плечи. Потом встряхнула волосами и медленно пошла к выходу.

К Лельке подсела мастерица Матюхина.

– Леля! Не годится эта девчонка в ударницы. Я все за ней смотрю: совсем кволая. Старается вовсю, это грех не сказать, а только работает через силу. Ведь работа ночная, – где ей такую выдержать.

– Я и сама это замечаю. Верно. Пойдем, скажем Ведерникову.

Ведерников работал на их же конвейере, на прижимной машине. Он подумал и сказал:

– Да, девчонка кволая, не выдержит. Вот что, товарищ Ратникова, столкнитесь с Лизой Бровкиной, поговорите вместе с Зиной, скажите, что мы ее решили снять с работы, жалеючи ее здоровье, а не из какой-либо причины.

– Ладно! Так будет лучше всего.

Зазвенел звонок. Все спешили к местам. У окна парень-колодочник, охватив Зину за плечи, что-то старался у нее отнять, а она вырывалась, смеялась мелким, блаженным хохотком и повторяла:

– Пусти! Да пусти же! Говорю тебе – не брала!.. Слышишь, звонок? Ей-богу же, пусти!

В следующий перерыв Лелька и Лиза Бровкина подошли к Зине. Лелька положила ей руку на плечо.

– Зина! Тебе ударная работа не по силам. Совсем испортишь здоровье. Нам поручили товарищи сказать: уходи из ударниц, мы тебя не осудим.

Зина побледнела.

– Ай я плохо работаю? Никогда у меня завалов нету.

– Работаете очень хорошо, речь не о том. А все мы видим, что тебе такая напряженная работа не по здоровью.

– Почему – не по здоровью? Что кой-когда устану, так это со всяким может быть. Не гожусь, – прямо так и скажите. Тогда уйду.

Она всхлипнула, быстро встала и ушла.

После этого Зина надулась на Лельку и стала от нее отворачиваться.

Обедали ударницы в нарпитовской столовой все вместе. Потом высыпали на заводский двор, ярко освещенный мартовским солнышком. В одних платьях. Глубоко дышали теплым ветром, перепрыгивали с одной обсохшей проталины на другую. Смеялись, толкались. На общей работе все тесно сблизилось и подружилось, всем хотелось быть вместе. И горячо полюбили свой конвейер. Когда проревел гудок и девчата

побежали к входным дверям, Лелька, идя под руку с Лизой Бровкиной, сказала:

- А я понимаю Зину-на-резине. И сама ни за что бы не ушла, пускай бы даже умерла бы.

Одна только большая боль была у Лельки. Ей все больше нравился Афанасий Ведерников, с его суровым, энергичным лицом. И все больше она начинала его уважать. Он безумно всего себя растрчивал на работе. Учился на вечернем рабфаке; полдня проводил на заводской работе, полдня на рабфаке; был членом ударной тройки, много работал и в ней. Имел еще какую-то нагрузку на рабфаке. И Лельке больно было смотреть на его истощенное, бледное лицо с выступающими скулами, хотелось подойти к нему с горячей товарищеской лаской. Между тем она чувствовала к себе с его стороны какую-то тайную, совершенно ей непонятную враждебность. Ведерников никогда не обращался к ней ни с каким вопросом, всегда смотрел мимо нее. А с другими девушками болтал, распускал суровые свои губы в улыбку, даже возился и обнимал за плечи. Несколько раз Лелька пробовала заговорить с ним, - и сама потом с отвращением вспоминала свой заискивающе-влюбленный тон, вроде того, каким говорила с парнями Зина Хуторецкая.

* * *

Заводская газета «Проснувшийся витязь» с шумом и торжеством оповестила о возникновении молодежной ударной бригады в галошном цехе. И из номера в номер в ней появлялись статьи о ходе работы на ударном конвейере, о том, как добросовестно, с каким энтузиазмом работает молодежь.

Нет праздных разговоров, все внимание сосредоточено на работе; на столах чистота, не мешают работе лишние колодки, их уже нет; учитываются и терпеливо выправляются все недочеты, обрезки аккуратно попадают в ящик; а на второй день листок из сортировки не пестрит цифрами брака, его лишь незначительное количество.

Старые работницы посмеивались на эти хвалебные статейки и на самохвальные плакаты, которые молодежь вывешивала о своей работе. Но смеяться было нечего. Дневная норма выработки для одного конвейера - 1600 пар. Молодежный конвейер день за днем стал давать на семьдесят пар больше. Радовались и торжествовали. Старые работницы уже не посмеивались, а смотрели враждебно.

- Девчонки! Накрутите нам норму, снизят нам расценки из-за вас.

И брак спустился до четырех процентов. Это было не бог весть что, но - все-таки спустился. Раньше было больше пяти.

А однажды утром на стенке около профцехбюро появился яркий плакат, разрисованный Шуркой Щуровым. В нем молодежный конвейер № 17 вызывал на состязание конвейер № 21 - лучший конвейер завода, состоявший из старых, опытных работниц. Работницы конвейера № 21 толпились перед плакатом, негодовали и смеялись.

- Ах, соски вам в рот! Еще носов утирать себе не научились, а туда же: «вызываем!» Нужно бы, нужно бы им носы утереть!

Все уже было намечено заранее. По окончании работ толстая мастерица конвейера № 21, партийка Заливухина, взгромоздилась на стол и сказала работницам конвейера № 21 речь о том, что сейчас пролетариат вступил на путь гигантского строительства, что все должны быть участниками этого строительства. Молодежь сделала вызов им как лучшему конвейеру завода. Это очень хорошо, что молодежь старается поднять производство. Но неужто мы хуже их! И неужто мы потерпим, чтобы другие были энтузиастами, мы - нет?

Работницы-партийки поддакивали, делали поощрительные замечания. Одна взяла слово, сказала, что вызов обязательно нужно принять, что позор будет старым работницам, если молодежь станет их учить, как нужно относиться к производству.

Раззадоренные работницы единогласно решили принять вызов и, расходясь, говорили со смехом:

- Нужно, нужно утереть носы девчонкам!

* * *

У обеих сторон разгорелось чисто спортивное чувство: кто - кого? Напечатали о состязании в «Проснувшемся витязе». Но газета выходила редко, три раза в месяц.

Перенесли хронику борьбы в стенную газету-ильичовку. И весь завод с интересом следил за этой бешеной работой в карьер, превращенной обеими сторонами в завлекательную игру. С нетерпением ждали сводки за две недели.

Горя жаркой лихорадкой, работал молодежный семнадцатый конвейер. С холодным и размеренным спокойствием работал конвейер двадцать первый.

* * *

Юрка Васин в это время вел ударную работу в вальцовке. С ним еще два парня-комсомольца. Их цель была доказать, что один рабочий может работать одновременно на двух вальцовых машинах, - до сих пор все работали на одной. Гриша Камышов, секретарь их цеховой комсомольской ячейки, «ударялся» со своими подручными тут же, на огромном трехзальном каландре.

Был здесь у всех тот же радостный подъем, как и на галошном конвейере, и тот же задор. Манило доказать угрюмо смотревшим старикам, что прекрасно один рабочий может справиться и с двумя машинами, если не сидеть часами в курилке. Ударники всех цехов часто сходились в ячейке, обменивались впечатлениями, смеялись, подзадоривали друг друга. Какой-то был молодой праздник. Так было радостно, так хорошо, что Юрка с удивлением приглядывался к рабочим, работавшим вокруг него с такими будничными лицами. Эх! Взять бы себе только другой подход, - и до чего же бы всем стало весело!

А раз случилось так.

Стоял Юрка у своей машины. Два нагретых металлических вала медленно ворочались друг другу навстречу и втягивали отвешенные порции разного сорта каучука: темно-коричневый смокед-шитс, вкусно пахнувший ветчиною, красиво-палевую пара, скучно-серый регенерат. Материал втягивался в горячие валы, расплющивался, перемешивался, пестрея, лез опять вверх, и постепенно из разноцветной, некрасивой лохматой смеси образовывался один равномерно тягучий, черный, теплый пласт резины.

Юрка переходил от одной своей машины к другой, а сам все поглядывал вправо. Там пять слесарей из механического цеха заменяли на соседней вальцовой машине рифленный вал гладким. Юрка поглядывал и весь кипел. Подняли вал на блоке. Ушли курить. Час целый курили. Наконец пришли двое. Поглядели на подвешенный вал, стали чесаться.

- А Макаркин где же?

Пошел Иванов искать Макаркина, сам пропал. Тем временем пришел Макаркин. Сели ждать Иванова. Всю работу можно было бы сделать в два-три часа, но видно было, - они проработают весь день.

Собрались наконец все. Взялись за работу. Работали с тою вялою неохотою, которая совершенно расслабляет силы, трудным делает всякое движение, противным - всякое усилие.

Юрка отнес на плече сверток свальцованной резины, остановился около слесарей. Все мускулы в нем бодро играли и пружинились. Хотелось растолкать эти вяло двигавшиеся фигуры, схватиться самому за работу, чтобы все закипело под руками, с презрением крикнуть: «Вот как надо!»

Спросил их:

- Вы сколько в день получаете?

- Пять рублей.

Юрка прикинул: пять человек, - перестановка вала обойдется заводу в двадцать пять рублей! Здорово!

- И не совестно вам так работать?

Они изумились. С усмешкою оглядели его. Макаркин помолчал и сурово спросил:

- А сам ты сколько получаешь?

- Я? Тоже пять рублей. Только я за это время 1200 килограммов резины свальцую, а вы что? Впятером один вал установите!

- Э!.. - Макаркин небрежно сплюнул сквозь зубы. Все начали зевать.

В первый раз всею душою Юрка почувствовал в этих рабочих не товарищей, а врагов, с которыми он будет бороться не покладая рук. И сладко было вдруг сознать свое право не негодовать втихомолку, а в открытую идти на них, напористо наседать, бить по ним без пощады, пока не научатся уважать труд.

Он сказал с отвращением:

- Мерзавцы вы!

И отошел.

Яро ворочал ползшую из-под валов резину, взбрасывал ее опять вверх и не слушал

ядовитых шуточек и смеха на свой счет. Думал:

«Ладно уж! Не переругиваться с вами буду. Найдем против вас кое-что другое!»

Вечером с помощью Лельки он написал в заводскую газету заметку: «Как у нас в вальцовке переставляли валы», и с наслаждением перечислил поименно всех пятерых.

* * *

Весна развернулась яркая и жаркая. Деревья быстро распускались, сверкая зеленью. Носились в воздухе запахи черемухи и молодых листочков душистого тополя.

Пестро размалеванные плакаты оповещали цехи и весь заводский поселок, что в воскресенье, 12 мая 1929 года, комсомол устраивает в лесу

ПОЛИТБОЙ

на тему о пятилетке по резолюциям XVI партконференции.

Ребята уже две недели организовывались, разбивались на отряды, выбирали командиров, яростно изучали резолюции и речи вождей на конференции.

Сбор был назначен к четырем часам в саду при летнем помещении заводского клуба. Но уже задолго до четырех девчата и парни сидели за столиками буфета и на скамейках, взволнованно расхаживали по дорожкам. У всех в руках были голубовато-серые книжки резолюций и постановлений партконференции с большой ярко-красной цифрой 16 на обложке. Перелистывали книжку, опять и опять пересматривали цифры намечаемых достижений.

Лельку ребята выбрали командиром одного из «преуспевающих» взводов. В юнштурмовке защитного цвета, с ремненным поясом, с портупеей через плечо, она сидела, положив ногу на ногу. К ней теснились девчата и парни, задавали торопливые вопросы. Она отвечала с медленным нажимом, стараясь покрепче впечатлеть ответы в мозги. В уголке, за буфетным столиком, одиноко сидел Ведерников и зубрил по книжке, не глядя по сторонам.

Парадом командовал Оська Головастов (тот, который вместе с Юркой накрыл тайного виноторговца Богобоязненного). Загубила труба. Оська закричал:

– Ребята! Стройтесь по взводам!.. – Подошел к Лельке. – Лелька, мой первый взвод. Твой будет второй. Третий...

Он распределял места. По лицу беспризорно бегала самодовольная улыбка. Девчата и парни строились по четыре в ряд, шутили, пересмеивались. Оська волновался. Его раздражало, что ребята держатся недостаточно торжественно.

Впереди стал военный оркестр. Грянул марш. Повзводно, шагая в ногу, колонна вышла из сада и мимо завода двинулась вниз к Яузскому мосту. Гремела музыка, сверкали под солнцем трубы и литавры, мерно шагали прошедшие военную подготовку девчата и парни, пестрели алые, голубые, белые косынки, улыбались молодые лица.

Лелька шагала впереди своего взвода и украшала весь взвод стройной своей фигурой в юнштурмовке и хорошенькою, кудрявою головою.

Ну, понятно, по бокам, около музыки, поспешали ребяташки. Босой мальчуган со съехавшими помочами шел впереди музыкантов и дирижировал, размахивая завернутою в бумагу булкою, которой дома дожидалась маманька.

Перед мостом повернули вправо и пошли над берегом Яузы, по опушке леса. На лужайке перед лесом остановились. Оська строил взводы, – шесть взводов, по три взвода друг против друга.

– Товарищи, когда появится штаб, я скомандую: «Смирно!» Ему дано уже знать. Сейчас появятся.

Но ждали с полчаса. Наконец вдали показалась кучка людей. Оська испуганно крикнул: «Смирно!», побежал вдоль взводов, выравнивая ряды, махнул рукою оркестру.

Навстречу медному грому торжествующей музыки подходил штаб. Впереди шел товарищ, присланный из райпарткома. Лелька побледнела. Это был – Владимир Черновалов! Она не видела его уже больше года.

Оська, держа ладонь у головы, подошел к Черновалову с рапортом. Черновалов слушал с серьезным лицом, тоже с рукою к козырьку. Потом обошел фронт. Увидел Лельку, радостно улыбуясь, приветливо кивнул головой. Остановился перед взводами и громким, властно звучащим голосом сказал речь. Что политбой устраивается на тему «Пятилетка». Сказал о великом значении пятилетки, о грандиозном шаге к социализму, который делает ею наша страна. Что каждый комсомолец должен знать весь план пятилетки как свои пять пальцев. В нынешнем политбое они и должны выявить свои знания.

- Да здравствует социализм! Да здравствует ВКП! Да здравствует ленинский комсомол!

Закричали «ура», оркестр заиграл «Интернационал», все запели. Каждые два состязающихся взвода промаршировали в намеченные для них места.

Взвод Лельки и состязающийся с ним взвод Оськи Головастова расположились на покато́й лесной полянке. Члены штаба разбились на тройки для руководства состязанием. В тройке, которая должна была судить Лелькин и Оськин взводы, был Черновалов, потом еще какой-то толстый товарищ из райкома и Бася (она давно уже была в партии).

Черновалов сел на пень и изложил условия предстоящего боя. В состязающихся взводах – по пятнадцать человек. Каждый из участников задает противной стороне по одному вопросу, касающемуся пятилетки. На вопрос может отвечать любой из неприятельского взвода, – по собственному желанию или по назначению командира. Однако каждый должен ответить на один вопрос, и не больше как на один. Ответивший хорошо считается в строю, – ему зачитывается одно очко. Ответивший неудовлетворительно считается раненым, – ему зачитывается пол-очка, и он отправляется на санитарный пункт, там ему подлечат егошибочки. Санитарный пункт – вон он, за ореховым кустом. (Смех. За кустом, тоже смеясь, сидел Гриша Камышов.) Давший плохой ответ считается убитым, – очка ему не зачитывается. Вопросы нужно задавать разумные. Вопрос кляузный, мелочной, имеющий целью поддеть противника, считается холостым выстрелом; за него скидывается пол-очка. Победит тот взвод, у которого окажется больше очков.

- Качество ответов определяю я. Никаких возражений и споров не допускается. Жаловаться можно потом в штаб. Даю двадцать минут на подготовку и обсуждение.

Голос его звучал крепко, фразы были короткие и решительные. Вообще Лелька почувствовала, что он стал какой-то крепкий.

Лелька со своим взводом ушла шагов за тридцать, на другую полянку за кустами. Расселись, разлеглись. Опять, волнуясь, перелистывали книжки. Лелька, стоя на коленях, опять отвечала на вопросы и давала разъяснения.

Катя Чистякова, закройщица передов, торопливо спрашивала:

- Скажи скорей, что такая за штука контрактация.

Юрка взволнованно курил папиросу за папиросой, острил и смеялся, сверкая зубами. Вдруг вспомнил, – к Лельке.

- Слушай, скажи, – что нужно возразить Фрумкину на его утверждение, что у крестьянского труда нет этой... Как ее? Ну, ты знаешь.

- Перспективы?

- Да, да!

- Вот что. Запомни, это очень важно...

И Лелька втолковывала Юрке, что нужно возразить Фрумкину.

Парни и многие девчата от волнения непрерывно курили. Высокая девушка в черном платье и алом платочке, галошница Лида Асташова, сказала:

- Бросьте курить! Культурная революция, а они курят! И ты тоже!

Она сбросила кепку с Шурки Щурова.

- Эй, эй, ты! Гадючка в красном платке!

Высокий парень крутил руки смуглой дивчине с черными, блестящими глазами.

- Чего так волнуешься, дурак? Все платье мне порвал. Гражданин, прекратите!

Юрка вытянулся на траве, лицом кверху.

- Ой, считайте меня уже сейчас убитым! Шурка, накрой меня моим боевым плащом!

Из-за кустов донеслось:

- Товарищи! Бой начинается!

Вскочили, смеясь и остря. На пне, с листом бумаги и карандашом в руках, сидел Черновалов, подле него Бася и толстый из райкома. По обе стороны Черновалова, лицом к противнику, расселись сражающиеся взводы. Во главе первого сидел Оська, во главе второго – Лелька. Вокруг кольцом теснилась публика.

Черновалов scomандовал:

- Первый взвод, начинай! Задавай вопрос.

Задали такой:

- На каком месте по окончании пятилетки будет стоять СССР по добыче угля и чугуна?

Лелька быстро оглядела своих, прочла в глазах Кати Чистяковой, что та готова ответить.

- Катя, отвечай!

- По углю на третьем месте, по чугуну – на четвертом. – На той стороне раздались

смешки.

- На-о-бо-рот!

Катя страдальчески сконфузилась.

- Ах, господи! Перепутала!

- Господь тут ни при чем, кстати, его даже и не существует.

Судья объявил:

- Ранена.

И сделал отметку на листе.

Спрашивали: на сколько вырастет за пятилетку наш транспорт, сколько миллиардов киловатт-часов будет давать страна в конце пятилетки. Девушка из отряда Оськи ответила, серьезно глядя:

- К концу пятилетки Союз наш дал двадцать три миллиарда киловатт-часов.

Черновалов улыбнулся.

- «Дал»... Погоди еще: «даст».

- Да, да! Даст!

Задали еще несколько подобных вопросов. Черновалов поморщился, почесал переносицу и сказал:

- Товарищи, все это, конечно, хорошо, но ведь цифры запоминать - дело памяти. А главная задача политбоя - выявить политическое понимание участников, уяснение ими себе задач пятилетки, ее путей. Не будет ли вопросов пошире?

Лелька перешепнулась с Лизой Бровкиной. Лиза задала вопрос:

- Какой основной смысл пятилетнего плана?

Оська взглянул на Ведерникова.

- Афонька, отвечай!

Ведерников смутился и сказал сурово:

- Не понимаю вопроса.

Лелька мягко и предупредительно стала объяснять:

- Что будет от осуществления пятилетки, - просто, скажем, получится увеличение продукции во столько-то раз, или ее осуществление будет иметь более широкое значение?

- Ага! - Ведерников откашлялся. - Значит, первое: из аграрно-индустриальной страны - в индустриально-аграрную переделается. Вот! А потом еще. Главный смысл, понимаешь, - мы тогда докажем капиталистическим странам, какая у нас силища, - значит, у государства, так сказать, которое есть социалистическое.

Ребята из вражеского взвода засмеялись.

- Что за «силища»?.. Ха-ха! Уби-ит!

Ведерников самолюбиво вспыхнул. Черновалов сказал веско:

- Остался в строю... Следующий вопрос.

Следующий вопрос Лелькину взводу был: какие трудности встретятся нам при осуществлении пятилетки? Лелька сказала:

- Юрка!

Юрка подумал, потом, путаясь, начал:

- Несознательность рабочих, если будут, значит, мало помогать. Это одно.

- Второе?

Юрка сверкнул улыбкой.

- Подождите, подождите, дайте подумать! Да! Главное, значит, что трудно будет с орудиями производства, капиталистические страны будут мало помогать, то есть, значит, мало будут стараться прийти на помощь. А у нас у самих, - он сморщился, припоминая трудное слово, - у нас... технико-экономическая отсталость страны.

Черновалов спросил:

- Всё?

Юрка подумал и ответил:

- Всё.

Ведерников нетерпеливо вмешался:

- А внутри партии правые - не дают, что ли, трудностей?

- Товарищ, не вмешивайтесь... Ранен.

- Ага!

- Ступай на перевязку! - засмеялся Шурка Щуров и за ноги потащил лежащего Юрку в кусты к Камышову.

Оська, хитро улыбаясь, задал вопрос:

- Какие изменения в план пятилетки внесли Совнарком и ВЦИК?

Черновалов сурово оборвал:

- Холостой выстрел.

- А-а, кружковод! А еще начальник взвода!

- Эй, холостой! Надо тебя женить!

Бой разгорался. Падали убитые и раненые. Лелька руководила своим взводом, назначала отвечать тому, кто, думала, лучше ответит. А украдкой все время наблюдала за Ведерниковым во вражеском взводе. Она было позвала его в свой отряд, но Ведерников холодно ответил, что пойдет к Оське, и сейчас же от нее отвернулся. И теперь, с сосущей болью, Лелька поглядывала на его профиль с тонкими, поджатыми губами и ревниво отмечала себе, что вот с другими девчатами он шутит, пересмеивается...

Из Лелькина отряда задал вопрос татарин Гассан в зеленой тюбетейке:

- Что будет с кулаками, когда колхозы охватят все сельское хозяйство?

Оська кивнул беловолосой дивчине с наивно поднятыми бровками. Она сказала:

- Повтори вопрос.

Гассан смешался, потом засмеялся. Вытащил из кармана бумажку, которую было спрятал, и стал читать. Захохотали.

- Э, брат! Не в голове вопрос носишь, а в кармане!

- Значит, что будет с кулаками, когда колхозы охватят все сельское хозяйство?

Девушка еще выше подняла брови.

- Кулаки... ну, умрут.

- Как же это они умрут, интересно!

- Ну, расслоятся. То есть - рассосутся.

Гассан протянул:

- Рассосись сама... Угробил я тебя!

Бой подходил к концу. Задал вопрос Ведерников:

- На осуществление пятилетнего плана требуется, понимаешь, по расчету пятнадцать миллиардов рублей. Откуда, так сказать, мы можем добыть эти средства?

Лелька взялась ответить сама. Она над этим вопросом думала и проработала его. Ее охватил хорошо уж ей знакомый сладкий страх, когда нужно сказать что-нибудь ответственное. И она начала:

- Конечно, нельзя рассчитывать добыть такие огромные вложения из налогов и вообще из бюджета. Эти вложения может дать только сама промышленность. Каким образом? Путем накопления средств в ней же самой. Для этого нужно прежде всего понизить себестоимость промышленной продукции, по крайней мере, на тридцать процентов, а для этого необходимо повысить производительность труда в невиданном размере. Знаете, на сколько? На с-т-о д-е-с-я-т-ь процентов! Ребятки, вы понимаете, что это значит? Это значит: социалистический строй к нам не придет н-и-к-о-г-д-а, если сами мы, рабочие, если сами мы не станем гигантами, если не поднимем на плечи тяжесть, которая изумит весь мир!

Положительно, из Лельки выработывался очень неплохой агитатор. Школьный ответ превратился у нее в зажигающую речь, и ее с растущим одушевлением слушали не только участники боя, но и рабочая публика, остановившаяся поглядеть на бой. Сила речей Лельки была в том, что никто не воспринимал ее речь как речь, а как будто Лелька просто высказывала порывом то, чем глубоко жила ее душа.

- Вопрос стоит прямо и ясно: только напряженность и добросовестность нашего труда сделают возможным построение социалистического общества. А между тем в нынешнем, в первом году пятилетки мы уже имеем невыполнение: заработная плата выросла больше, чем предполагалось по плану, а производительность труда не достигает намеченной степени... Какой позор! Какой позор! Мы рабочие - из-за нас план может не осуществиться! Рабочие всего мира с замирающим сердцем следят, сумеем ли мы создать новую жизнь, сумеем ли проложить путь туда, куда до сих пор путь считался совершенно невозможным. И вдруг окажется: нет, не сумели! Были такие возможности, каких ни у кого никогда не было, и - не сумели! Вы понимаете, какой это позор и какой ужас! И как в такое время могут находиться товарищи - р-а-б-о-ч-и-е! - которые думают только о рубле, которые боятся только одного, - как бы им не накрутили нормы!

И Лелька быстро села. Этого тут не полагалось, но все неистово захлопали, - сначала публика, потом бойцы, потом и сам Черновалов. Хлопали оба взвода одинаково. И вдруг среди приветственно улыбающихся, дружеских лиц Лелька заметила бледное лицо Ведерникова. Он один среди всех не хлопал. Сидел, скучливо глядел в сторону. Лелька закусил губу и низко опустила голову.

Бой был окончен. Благодаря Лелькиной речи он закончился ярко, крепким аккордом. Штаб сидел кружком под большим дубом и подводил итоги боя. Солнце садилось, широкие лучи пронизывали сбоку чащу леса. Ребята сидели, ходили, оживленно обсуждали результаты боя. Лелька увидела: Юрка о чем-то горячо спорил с

Ведерниковым и Оськой. Ведерников как будто напал, Юрка защищался.

Штаб вышел на опушку. Ребята столпились вокруг него. Первый приз получил Лелькин взвод. Черновалов в заключительном слове сказал, что в общем политбой прошел достаточно удачно, что это – очень многообещающая новая форма массового политического воспитания. Но один был недостаток очень существенный.

– Не было совершенно вопросов, касающихся правого уклона, и вообще о нем совсем не говорилось. Только один товарищ, Ведерников, попытался вам напомнить о нем. Это делает ему большую честь. Забывать сейчас о правом уклоне – это значит показать полное отсутствие классового чутья. То, что предлагают правые, – это не поправки к пятилетке, а отрицание ее. Поэтому изучение пятилетки необходимо неразрывно связывать с разоблачением идей правого уклона.

Кончили. Стали расходиться. Черновалов отыскивал глазами Лельку. Отыскал, подошел с протянутой рукою, хорошо улыбаясь. Хвалил ее за речь, сказал:

– Молодец, девка! Ты здорово продвинулась вперед. Твоя речь скрасила и углубила весь бой.

Смотрел с дружескою приветливостью, расспрашивал про ее работу на заводе. Но даже в самой глубине его глаз не было уже той внимательной, тайно страдающей ласки, какую Лелька привыкла видеть. И она знала: он сейчас живет с одной красавицей беллетристкой, – конечно, коммунисткой: Володка никогда бы не унизился до любви к беспартийной.

Кончилась их любовь. Совсем. Для него это пережитая болезнь. А уже давно сказано: раз любовь прошла по-настоящему, она уже не воротится н-и-к-о-г-д-а.

Никогда.

Лелька приветливо улыбнулась, протянула Черновалову руку.

– Меня ждут ребята! Пока. Рада была тебя видеть.

И убежала.

Приз победителя был – бесплатное катанье этим вечером на лодках. Ребята шумною толпою шли к лодочной пристани у Яузского моста, кликали Лельку. Она их догнала. Юрка очутился возле.

Лелька незаметно отстала с ним и, как будто мельком, с полным безразличием спросила:

– О чем это ты, я видела, так горячо спорил с Афонькой и Оськой?

Юрка смешался.

– Э, так! Бузили они. Говорили незнамо что.

Лелька насторожилась.

– Ну, а что же все-таки говорили?

Он извиняюще улыбнулся.

– Черт с них спросит! Не стоит обижаться. Ну уж скажу. Только ты не обращай внимания. Говорили мне: зачем путаюсь с тобою? «Путаюсь!»! Вовсе я и не путаюсь. «Зачем, – говорят, – ты путаешься с интеллигенткой этой? Разве не чуешь, что она не наша, что она чуждый элемент?» Я говорю: «Куда к черту – чуждый! Не слышал сейчас, что ли, речь ее?» – «Что ж – речь! Подучимся в вузе и сами не хуже скажем. Чего они к нам лезут, в рабочую среду? Образованием своим поковырять? Вырвать у них нужно образование, отнять. Чем они заинтересованы в победе рабочего класса?» Лелька слушала с неподвижным лицом.

– Это кто же из них именно говорил?

– Ну, Ведерников, ясно. Афонька. Оська только поддакивал.

Пришли к пристани. Рассаживались по лодкам. Лелька бешено оживилась.

Очень удачно вышло катанье. И веселое. Перегонялись, обливались водою, бузили. Во всем зачиналкой была Лелька.

Гасла заря. Стояли зеленоватые майские сумерки. Тихо плыли назад, близко лодка за лодкой, и пели все вместе:

Ты моряк, красивый сам собою,
Тебе от роду двадцать лет.
Полюби меня, моряк, душою!
Что ты скажешь мне в ответ?

И потом одни пели:

По морям!

Другие откликались:

По волнам!

Первые:

Нынче здесь!

Вторые:

Завтра там!

Все вместе:

Ах!!!

По морям, морям, морям!

Нынче здесь, а завтра там!

А как только вышли на берег, Лелька быстро ушла одна. В тоске бродила по лесу. Долго бродила, зашла далеко, чтоб ни с кем не встречаться. Потом воротилась к себе, в одинокую свою комнату. Села с ногами на подоконник, охватив колени руками. Ночь томила теплынью и тайными зовами. Открыла Лелька тетрадку с выписками из газет (для занятий в кружке текущей политики) и, после выписки о большой стачке портовых рабочих в Марселе, написала:

Очень большой успех на политбое. Моя речь «скрасила и углубила весь бой». Хха-ха! Головокружительный успех, а я не знаю, куда деваться от тоски. Он стоял властный, крепкий, такой изменившийся. Я равнодушно говорила с ним, а в душе обрывалась одна струна за другой. Да, ясно: кончено все. А ведь в его объятьях я перестала быть девушкой, его полюбила я горячо и крепко. И никто никогда уже не узнает про глупую любовь комсомолки Лельки, и как сама она, играя, разбила собственными руками большое свое счастье. А ведь я молода, мне всего двадцать два года, – почему же? Почему не могу я, как другие девчата в моем возрасте, насладиться лаской, почувствовать горячий поцелуй и иметь хорошего друга-товарища? Да, еще сегодня я думала, что найду такого товарища, что я просто не умею как-то подойти к нему. Но как проклятие лежит на мне клеймо интеллигентки. Парень, настоящий пролетарий, с глубоким классовым чутьем, – он не пойдет ко мне. Да и не стою я. Разве не оказываюсь я способной вот на такие, например, ерундовские дневники с размазыванием личных чувств и с упадочными переживаниями, когда в Союзе нашем идет такая великая стройка?..

Перечитала Лелька написанное, вырвала страницу вместе с выпискою о марсельской стачке, разорвала на мелкие кусочки и выбросила в окошко. Край неба над соснами сиял неугасным светом. Лелька в колебании постояла у окна и вышла из комнаты.

Быстро шла по пустынной улице, опустив голову. Навстречу шагал Юрка. Узнал в темноте.

– Лелька, ты? Куда это ты смоталась? А мы до сих пор по лесу гуляли. Хорошо!

Лелька оглядела его странно блестящими глазами, сказала:

– А я за тобою шла, – думала, ты дома. Паршиво как-то на душе. Пойдем ко мне, будем чай пить.

Пили чай. Потом сидели у окна. Лелька прислонилась плечом к плечу Юрки. Он несмело обнял ее за плечи. Так сидели они, хорошо разговаривали. Замолчали. Лелька сделала плечами еле уловимое призывное движение. Юрка крепче обнял ее. Она потянулась к нему лицом. И когда он горячо стал целовать ее в губы, она, с запрокинутой головой и полузакрытыми глазами, сказала коротко и строго:

– Хочу быть твоей.

* * *

Юрка упоенно переживал восторги своего медового месяца. Но горек-горек был этот

мед. Когда он назавтра свободно, как близкий человек, подошел к Лельке, то получил такой отпор, как будто это не он был перед нею, а Спирька или кто другой. Никогда он не знал, когда она взглянет на него зовущим взглядом. И каждая ее ласка была для него неожиданною радостью. Но именно поэтому ласка была мучительно-сладка.

* * *

Состязание конвейеров продолжалось.

Пришла наконец сводка за две недели. Только по прогулам молодежь стояла выше старых работниц: у молодежи прогулов совсем не было, не было и опозданий. Во всем же остальном старые работницы совершенно забили молодежь. Продукция галош была у них в среднем на пятьдесят пар больше, а процент брака – один и три десятых против трех с лишним у молодежи.

Было общее уныние и конфуз. Более малодушные говорили.

- Что ж удивиться, ясно! Лучшие работницы, – где же нам против них.

Бася сказала Щурову:

- Шурка, рисуй плакат, что они нас одолели.

- Вот еще! Чего нам срамиться. И другие подхватили:

- Зачем? Не нужно плакат. Так просто, на маленькой бумажке объявим.

Ведерников строго возразил:

- Это, товарищи, не подход. У нас не футбольный какой-нибудь матч. Мы, понимаешь, должны только радоваться, что и старых работниц взбодрили. У нас установка такая и была, чтоб других поджечь.

Со стыдом вывесили яркий плакат о победе старых работниц. Однако внизу было написано очень крупно:

НО МЫ, МОЛОДЕЖЬ-КОМСОМОЛЬЦЫ, НЕ СДАЕМСЯ
СОСТЯЗАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Старые работницы бахвалились и смеялись над девчатами:

- Что? Мало мы вам в загорбок наложили? Ну, ну, ждите еще! Наложим покрепче.

Состязание продолжалось.

* * *

В перерыве Лелька остановилась с Лизой Бровкиной у конторки профцехбюро перед доскою объявлений. Сбоку был пришпилен кнопками лист серой бумаги с полуслепыми лиловыми буквами – распоряжения по заводу. Равнодушно пробежали сообщения о взысканиях, перемещениях и увольнениях. Вдруг Лелька вцепилась в руку Лизы.

– Лизка! Что это!? Смотри!

Они прочли:

«Выключается из списков за смертью галошница Зинаида Хуторецкая, № 2763»

– Зина-на-резине! Смотри, умерла!

Они вспомнили, что уже три недели Зины не было видно. Кто-то, помнилось, говорил, что она захворала. Но никто даже не удосужился узнать – чем. Захворала – и захворала. Ее заменили другую работницею.

Лелька и Лиза кинулись к Басе.

– Как Хуторецкая умерла, когда? В чем дело?

Никто не знал.

Назавтра Лиза Бровкина все разузнала и принесла вести, – справилась в больнице. Умерла Зина от резко обострившегося туберкулезного процесса. Могло это быть от переутомления? Доктор ответил: «Ну конечно. Самая вероятная причина».

Все тяжело молчали. Лелька сказала:

– Да. Погибла. Как боец в бою. Среди нас, товарищей. А мы... Погибал среди нас человек, а мы...

Она припала головой к столу и разрыдалась. И многие девчата плакали.

Бася сурово хмурила брови.

– Короткую ей надгробную речь можно сказать: подлецы мы все с вами, девчата, больше ничего!

И, закусив губу, быстро пошла прочь. Зазвенел звонок, побежала лента. Все схватились за работу.

* * *

Новая сводка через две недели.

Опять по всем почти пунктам победили старые работницы. Опыт и сноровка одолели энтузиазм и задор. Особенно всех повергал в уныние брак: как ни стараются, не могут его изжить. Допрашивались у мастерицы Матюхиной, – в чем дело? Она, убитая и сконфуженная больше всех, только разводила руками. Причины брака в галошном производстве часто были совершенно неуловимы, сами инженеры не могли их выяснить. Но вот – все-таки у старых работниц брака было много меньше. Была у них сноровка, чутьем каким-то они выработали себе особые приемы. И у самой Матюхиной, если бы она работала, браку было бы меньше, но объяснить другим, как это сделать, она не могла, как не смогла бы и ни одна из старых работниц.

Уныние полное охватило комсомолию. Напрасно Ведерников, Бася и Лелька убеждали девчат, что дело вовсе не в их победе, что если заразились соревнованием и старые работницы, то это великолепно. Девчата вяло соглашались, но энтузиазм остыл, руки опустились. Работа пошла по-всегдашнему. Странно было, как вдруг изменились девчата. Раньше, если у одной получался завал, другие спешили на помощь. А теперь: одна растерянно билась над завалом, а соседки продолжали спокойно делать свою работу. Никому до общего преуспевания не было дела.

Состязание молодежного конвейера со старыми работницами живою струею пронизало обычную жизнь завода, всколыхнуло ее, привело в движение. Струя иссякла, и жизнь заводская опять застыла будничным болотом.

Наружно это было как будто не так. Под потолком цехов, по стенам клуба и столовки тянулись красные ленты с белыми призывами:

**ВЫДВИНЕМ НОВЫЕ КАДРЫ СТРОИТЕЛЕЙ СОЦИАЛИЗМА!
ВОЙНА – РАСХЛЯБАННОСТИ И БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ!
ЗА ВСЕМЕРНОЕ СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ!
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ И ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
ДИСЦИПЛИНУ!**

Образовалось немало инициативных троек и ударных бригад. Но нужной подготовки

проведено не было, тройки и бригады не родились органически от рабочей массы, а назначены были сверху, во исполнение приказа Куйбышева. И болтались они в заводской жизни мертвыми, нерожденными младенцами.

Лелька растерянно смотрела на происходившее и спрашивала Басю:

- Что же это такое?

Бася сердито хмурила брови и кусала губы.

В конце мая было общее производственное совещание. Оно тоже дало мало утешительного.

Председатель совещания, рабочий Жданов, больше говорил о том, что должно быть; о том же, что есть, мало можно было сказать хорошего: прогулы не уменьшаются, брак растет, снижение себестоимости незначительное. И он горячо взывал к собранию:

- Товарищи! Договор на соревнование - это не пустяки. Дело идет не на-живо, а насмерть. Нужно на этом заострить внимание. И будем стараться, товарищи, чтобы нам выйти на хороший путь.

Потом с докладом выступил инженер Сердюков, высокий старик с острой бородкой и с умными, тайно насмешливыми глазами. Говорил серьезно, медленно и веско.

- Мы с вами, товарищи, за первый квартал недовыработали 600 тысяч пар галош... Сейчас вырабатываем по 53 тысячи пар в день; после отпуска мы должны вырабатывать в день по 57 тысяч, иначе не выполним задание... А, судя по теперешней производительности, выполнить задание мы никак не сможем.

И все время говорил: «мы с вами». Даже так сказал: «Мы с вами за этот квартал прогуляли больше тысячи рабочих дней».

И закончил:

- На днях вы все уходите в отпуск. Общераспространенное явление - очень многие задерживаются в деревне на полевых работах и опаздывают к сроку. Это, товарищи, сильно вредит производству. Нужно принять все меры, чтобы не было опозданий из отпуска.

В конце произошел маленький инцидент. В прениях выступил товарищ Буераков и заговорил резко, глядя острыми глазками:

- Я красноречия так много не знаю, как другие здесь развивают. Но все-таки хочу сказать категорически. Этого вот инженера, который тут выступал с докладом, я его давно заприметил. И замечаю по глазам, что он не любит нас, рабочий класс. Ему нет дела до грандиозного плана строительства, он сам не хочет выполнять задания и нам говорит, чтоб не выполняли. Должно быть, ему важно только жалование спецовское получать, а на нас, рабочий класс, он плюет. Этого дозволить ему нельзя.

Инженер Сердюков в президиуме удивленно пожал плечами. Председатель поглядел, помолчал и продолжал вести заседание.

* * *

Однажды поздно ночью, упоенный счастьем, Юрка робко спросил Лельку:

- Лелька, вышла бы ты за меня?

Лелька изумленно вытаращила глаза.

- Выйти за тебя. Что за слово нелепое: выйти за тебя... Тогда уж лучше ты выйди за меня. А я от своей самостоятельности отказываться не хочу.

Она рассмеялась.

- Пойти в загс? И потом поселиться вместе в одной комнате? И чтобы штопать тебе носки? Какой ты, Юрка, дурак!

* * *

8 июня работы закончились, всем был месячный отпуск.

Завод закрылся на месяц для общего ремонта. Деревенские с радостными лицами и с тяжелым багажом ехали к себе в деревню, здешние отправлялись в дома отдыха, молодежь - на экскурсии или на общественную работу. Юрка предложил Лельке проехать вместе на пароходе по Волге. Лелька только рассмеялась. Она ехала в Нижегородскую губернию, политруком в лагерь к осоавиахимовцам.

* * *

8 июля, через месяц, съехались все обратно. Лелька, как в родной уже дом, вошла в

бюро ячейки, где толкались и оживленно делились впечатлениями густо за месяц загоревшие девчата и парни. Лельку, тоже загоревшую, в защитного цвета юнгштурмовке, встретили:

- А, война и сила!

Катя Чистякова рассказывала, какой чудный парк был в их доме отдыха, бывшем графском поместье.

Шурка Щуров, технический секретарь, засмеялся:

- Ха-ха! «Чудный». Как будто в поэзии!

- Ну да. Это так говорят, когда очень хорошо. Смех, шутки. Ах, милая комсомолия!

Вошли Бася и Ведерников, оба сердитые и взволнованные. Бася говорила:

- Второй уж день сегодня работаем, - и триста восемьдесят человек еще не явилось из отпуска. Четыре конвейера из-за этого расформировано... А, Лелька! Приехала?

Лелька с болью ждала, поздоровается ли с нею Ведерников первым. Не поздоровался, как будто даже не заметил.

Бася продолжала возмущаться:

- Принято с биржи сто новых галошниц, и все-таки из-за нехватки работниц дневная выработка - только 53 тысячи вместо намеченных планом 57... Что же это делается? Как мы сможем выполнить план с такою публичкой?

- Все деревня! - сурово отозвался Ведерников. - Сейчас ругался с ребятами в курилке. Вы для деревни забываете завод, для вас ваше хозяйство дороже завода. А они: «Ну да! А то как же! Самое страдное время, мы рожь косили. Пусть штрафуют». - «Дело не в штрафе, а это заводу вредит, понимаете вы это дело?» - «Э! - говорят, - на каком месте стоял, на том и будет стоять». Во-от! Что это за рабочие? Это чужаки, только оделись в рабочие блузы. Гнать нужно таких с завода.

- Гнать! Безусловно! - согласилась Бася. - И таких мало - рассчитывать, нужно, чтобы в их трудовых книжках было помечено, что они сбежали с трудового фронта и, значит, не нуждаются в работе. Ни один из этих предателей не должен быть принят обратно на завод. Ступай на биржу! И работу этому - в последнюю очередь!

Ведерников широко открыл глаза от восторга.

- Правильно! Баська, садись, пиши об этом статейку в нашу газетину. Будем на этом настаивать.

- Обязательно нужно писать. Шурка, дай-ка бумаги. Лелька, иди помогай!

Они втроем - Бася, Лелька и Ведерников - сели писать статью.

* * *

Творилось что-то невероятное. Как будто мухи какие-то ядовитые всех покусали. Съезжались из отпуска медленно-медленно. Брак рос, прогулы были чудовищные, трудовая дисциплина сильно падала. Получалось ужасное впечатление: как будто таков был ответ широкой рабочей массы на пятилетний план и на повышенные задания, предъявленные к заводу. О «Красном витязе» говорили по всему району.

Тогда сверху был направлен на завод сокрушительный удар. Смещен был за выявившийся оппортунизм на практике директор завода, назначены перевыборы завкома, в партком назначен новый секретарь. Снят был с секретарства в комсомольском комитете вялый фразер Дорофеев. Заводская комсомолия дружно выдвинула на его место секретаря вальцовочной цеховой ячейки Гришу Камышова. В райкоме его утвердили.

С изумлением и восторгом следила Лелька за искусной, тонкой работой, которая началась. Это была чудеснейшая, ничем не заменимая организация, - партийная рядом с государственной. Государство могло только предписывать и приказывать снаружи. Оно наметило пятилетку, дало определенные задания. Партия же тысячами щупалец вбуравливалась отовсюду в самую толщу рабочей массы, будила ее, шевелила, раззадоривала и поднимала на исполнение задач, которые ставило перед классом государство.

* * *

Закрытое собрание комсомольского актива. Выступил с энергичным словом новый секретарь заводского партийного комитета Алехин (летом партийная и комсомольская ячейки завода были преобразованы в комитеты). Он был краток; охарактеризовал положение на заводе и дал общие директивы.

- А вы, комсомол, должны подхватить эти директивы, осознать их и развить всю свою

творческую энергию, партия же вас не оставит и все время будет идти с вами рука об руку.

Потом говорил новый секретарь заводского комсомольского комитета, Гриша Камышов. Узкое лицо и ясные глаза, по губам быстро проносится насмешливая улыбка, и опять серьезен Он жестоко крыл весенних ударниц, участниц молодежного конвейера:

- Весною вы разыгрались, весело было на вас глядеть, да только недолго получал я это веселье. Сейчас же вы и скисли. А когда теперь гляжу, как вы работаете, то откровенно скажу: не чувствую я, что вы ударницы. Вот когда талоны на материю получать, тогда - да! Тогда сразу я чувствую, что в этом деле вы ударницы. Вопрос теперь становится перед вами всерьез. Весною мы больше резвились, спички жгли для забавы, а теперь нам нужно зачинать большой пожар на весь завод. Вот вам истина, от которой не уйдете.

Выступила еще агитпроп комитета Бася Броннер.

- Задним числом глядя, наша весенняя ударная бригада была просто позор. Мы как будто не делом занимались, не решали важную политическую задачу, а матч какой-то устроили волейбольный, веселую для себя забаву!

Говорили много и горячо. В защиту комсомола выступил Ромка Акишин, машинист с прижимной машины, в большой кепке с огромным квадратным козырьком.

- Товарищи! Я коснусь о комсомоле. Как в резину прибавляется ускоритель, чтобы скорее шла вулканизация, так мы, молодежь, выпускаем ускоритель в пятилетку. Наша молодежь доказала, что идет впереди. Нас обвиняют, по-моему, неправильно, я сейчас администрацию и завком тоже буду крыть. Есть товарищи, которые смотрят на это не в достаточной степени...

Он подробно рассказывал, как администрация, завком и партийные организации равнодушно отнеслись к весеннему начинанию комсомола и как великолепно работал комсомол, на удивление всему заводу. У Ромки были маленькие, наивные глазки и восхищенное лицо.

- Очень много говоришь, - вдруг кто-то сказал из публики. Хохот.

Ромка еще непривычен был к выступлениям. Смутился и кончил, все время сбиваясь:

- И мы, товарищи, будем бороться против всяких недостатков! Против бюрократизма! Против зажима иншцыативы! Мы, товарищи, за международную революцию!

Жидкие рукоплескания были заглушены смехом. Встала за столом президиума толстошеяя Ногаева с выпученными глазами, - новый партприкрепленный к комсомольскому комитету. И, ломая обычное вначале нерасположение к себе, заговорила спокойно-уверенным, подчиняющим голосом.

- Товарищ Акишин выступал, что все у нас благополучно и что молодежь на первом плане. Так ставить вопрос, Акишин, значит, смазывать наши прорехи. Нельзя усыплять деятельность молодежи, нельзя ей голову кружить самохвальством. Ты подожди, пусть вас похвалят другие, а не вы сами. И нужно вам, ребята, не выхвалять свои прежние заслуги, а браться за дело. Дела много, и дело очень серьезное. Весь район сейчас смотрит на нас, сможем ли мы выйти из того позорного упадка, в который впали. Давайте не давать клятв, давайте не писать торжественных резолюций, которые мы привыкли и умеем писать. А вот давайте все, кто тут есть, - вступим в ударные бригады завтра же!

Бурные рукоплескания. Ромка вскочил:

- Я хочу!

Гриша Камышов спросил с легкой усмешкой:

- Ты что? Будешь оправдываться? Не надо!

Крики:

- Не надо!

Оживленно выходили все. Настроение было другое, чем тогда, зимою, когда замыслили молодежный конвейер. И не играя, не с удалым задором, как весною, брался теперь комсомол за боевую работу, а с сознанием большой ответственности и серьезности дела.

Камышов на прощанье сказал:

- Ну, ребята, теперь не шуточки шутить, теперь вы должны доказать ту истину, что комсомол недаром заслужил право носить звание ленинского комсомола.

* * *

И правда, зачался большой пожар. Через две-три недели узнать нельзя было завода: весь он забурлил жизнью. Конвейеры и группы вызывали друг друга на

социалистическое соревнование. Ударные бригады быстро росли в числе. Повысился темп работы, снижался брак, уменьшались прогулы. И сделалось это вдруг так как-то, – словно само собой. Какой-то беспричинный стихийный порыв, неизвестно откуда взявшийся.

Но было, конечно, не так. Все подготовлялось заранее самым тщательным образом, намечались для начала более надежные конвейеры и группы, распределялись роли между партийцами и комсомольцами.

Когда звенел звонок к окончанию работы, вскакивал на табуретку оратор, говорил о пятилетке, о великих задачах, стоящих перед рабочим классом, и о позорном прорыве, который допустил завод. И предлагал группе объявить себя ударной. Если предварительная подготовка была крепкая, группа единодушно откликнулась на призыв. Но часто бывало, что предложение вызывало взрыв негодования. Работницы кричали:

- И так нагрузка черт те какая, больше не можем!
- Мы не резиновые, нельзя человека без конца растягивать.
- Не хотим мы ударяться, ударяйся сам!

Им давали выкрикаться. Потом с разных концов начинали подавать голоса партийки и комсомолки:

- Ведь семь часов работаем, не десять-двенадцать, как в царские времена. Можно и понатужиться.

- Что ж мы, на хозяина, что ли, работаем? На себя же, на свое, рабочее государство.

- Товарищи, неужели мы будем терпеть, что по всему району на наш завод пальцами указывают?

- Что разговаривать! Записывай всех в ударные!

Голосовали и принимали предложение. Тут же утверждали заранее приготовленный устав ударной бригады. И появлялись плакаты в цехах и заявления в заводской газете «Проснувшийся витязь»:

Для успешного проведения строительства социализма в условиях обострения классовой борьбы на всех участках этого строительства требуется напряжение всех сил пролетариата. Учитывая трудности строительства и желая прийти к нему на помощь, мы, работницы такого-то конвейера, объявляем себя ударным конвейером.

И дальше шли параграфы устава бригады: каждый ударник должен следить за работой своего соседа, и каждый отвечает за бригаду, также бригада за него... Ударник должен бережно относиться к заводскому имуществу, не допуская порчи такового хотя бы и другими рабочими. Должен быть примером на заводе по дисциплинированности и усердию работы на производстве.

* * *

Везде – в призывных речах, на плакатах, в газетных статьях – показывалось и доказывалось, что самая суть работы теперь в корень изменилась: работать нужно не для того, чтобы иметь пропитание и одежду, не для того даже, чтобы дать рынку нужные товары; а главное тут – перед рабочим классом стоит великая до головокружения задача перестроить весь мир на новый манер, и для этого ничего не должно жалеть и никого не должно щадить. Весело было Лельке смотреть, как самыми разнообразными способами рабочие и работницы втягивались в кипучую, целеустремленную работу и как беспощадно клеймились те, кто по-старому думал тут только о себе.

Хронометраж установил, что по промазке «дамской стрелки» дневную норму смело можно повысить с 1400 пар на 1600. Администрация объявила норму 1600 и соответственно снизила расценку.

Работницы возмутились. Кричали, ругались в уборных и в столовке. И тайно сговорились. При ближайшем подсчете оказалось, выработка у всех была прежняя – 1400. И так еще три раза. Потом пришли работницы в дирекцию, стучали кулаками по столу, кричали, что норма невозможная, что этак помрешь за столом.

Директор холодно ответил:

- Не помрете.

А после их ухода позвонил в ячейку.

В понедельник из восьми работниц этой группы четыре оказались переведенными на новую работу, а на их место были поставлены комсомолки, снятые с намазки черной стрелки. Предварительно с девушками основательно поговорил в бюро ячейки Гриша Камышов.

Четыре оставшиеся старые работницы со злобою и презрением оглядывали девчат:
- Пришли норму нам накручивать? И куда же это ныне совесть девалась у людей!
Девчата посмеивались и мазали. В первый же день, еще не свыкнувшись с новой для них операцией, они уже промазали 1400 пар, как старые работницы. Через три дня стали мазать по 1600, а еще через неделю эти 1600 пар стали кончать за полчаса до гудка.

* * *

Камышов в бюро комсомольского комитета разговаривал по телефону, а технический секретарь Шурка Щуров переписывал за столом протоколы и забавлялся тем, что будто бы отвечал на то, что Камышов говорил в трубку.

- Здравствуй!

Шурка вполголоса, для собственного удовольствия:

- С добрым утром, с хорошей погодой!

- Что так поздно?

- Поздно. Раньше невозможно!

- Ругать вас и следует!

- Пора бить!

- Ну, спасибо!

- Не стоит того!

Вошла Лелька. Шурка, играючи, схватил ее за запястья. Лелька сказала:

- Ну ты, кутенок! Цыц!

Он отстал. Подошел от телефона Камышов, сказал Шурке:

- Левка принес знамя для завтрашней демонстрации, а на древке нет остря. Возьми в клубе, я видел - там есть.

Шурка встал, чтобы идти.

- Да не сейчас. Не к спеху.

- Чего? Старик, что ли, я? Сейчас и сбегаю.

- Брось ты, что за постановка? Пойдешь обедать и зайдешь. А вот что, - погоди, - сейчас нужно сделать. Сбегай домой, возьми фотографический аппарат, будь к гудку на заводском дворе. А ты, Леля... Ты в ночной смене сегодня? Сейчас свободна?

- Ага!

- Вот тебе список фамилий, - четыре работницы из намазки материалов. Пойди, пусть тебе мастерица их укажет, я уж ей сказал. Только чтоб сами они этого не заметили. Запомни их рожи. А потом как-нибудь устройте с Шуркой так, чтобы снять с них фотографию, - лучше бы всего со всех четырех вместе, группой. Вот вам обоим миссия на сегодня.

- «Миссия»... Ха-ха! Как в брошюрках!.. Идем, Лелька!

* * *

Осенний ясный день. Гудок к окончанию работ дневной смены. Из всех дверей валили работницы. На широком дворе, у выхода из цеха по намазке материалов, стояла Лелька в позе, а на нее нацеливался фотографическим аппаратом Шурка Щуров.

Проходили работницы, останавливались, смотрели. Некоторые говорили:

- Нас бы снял!

Шурка все целился из аппарата на Лельку, а она зорко приглядывалась к проходившим. Шли две из намеченных, тоже остановились. Лелька к ним обратилась:

- Хотите, снимем вас?

- О? Ну, ну, снимай.

Стали расстанавливаться. Шла третья из намеченных. Ее окликнули:

- Дарья Петровна, подходи, симись с нами.

Но четвертая долго не шла. Шурка смотрел под черным покрывалом в аппарат, перестанавливал старух, поправлял руки, поворачивал головы.

Появилась наконец четвертая. Лелька надеялась, - может быть, позовут ее сами. Но не позвали. А она даже не остановилась.

Лелька спросила Шурку:

- У тебя пластинка длинная, да?

Он с удивлением взглянул, ответил:

- Ну да.

- Так что же месту пропадать, жалко. Еще одна уместится. Товарищ, вы не хотите сняться?

Она остановилась. Ей закричали:
- Иди, иди! Снимись за компанию!

* * *

В ближайшем номере «Проснувшегося витязя» появился этот снимок. Все четверо были названы по фамилиям, а потом стояло:

ЭТИ РАБОТНИЦЫ УМЫШЛЕННО НЕ ВЫПОЛНЯЛИ НОРМЫ.

Рассказывалась вся история, как они притворялись, что не могут сработать больше 1400 пар, высмеивалось их рвачество. И смешно было смотреть на снимок, как они старались принять позы, выглядеть покрасивее. И этакая подпись!

А под снимком - другой: четыре задорно смеющихся молодых девичьих лица, под снимком - фамилии и подпись:

ЭТИ РАБОТНИЦЫ ЧЕСТНО ИСПОЛНИЛИ СВОЙ ПРОЛЕТАРСКИЙ ДОЛГ.

По всему заводу рассматривали снимок, из других цехов заходили в намазочную, - почему-то всем интересно было увидеть пропечатанных в натуре. Старые работницы ругались, молодым было приятно. И после этого им приятно стало сделаться ударницами. Само собою образовалось ударное ядро в цехе намазки материалов.

* * *

Оська Головастов. Тот, который вместе с Юркой накрыл тайного виноторговца Богобоязненного и потом на политбое командовал взводом, состязавшимся с Лелькиным взводом. Огромная голова, как раз по фамилии, большой и странно плоский лоб, на губах все время беспризорно блуждает самодовольная улыбка. На всех собраниях он обязательно выступает, говорит напыщенно и фразисто, все речи его - отборно-стопроцентные.

Раньше был он колодочником, - подносил колодки к конвейеру. Потом стал машинистом на прижимной машине, на которой в конце конвейера прижимают подошву к готовой галоше. За эту работу плата больше - 3 р. 25 к., а колодочник получает 2 р. 75 к. На каждый конвейер полагается по колодочнику. В «Проснувшемся витязе» Оська поместил такой вызов:

Я, Осип Головастов, заявляю: у колодочников рабочий день очень незагружен, они только и знают, что сидят в уборной и курят. По этой причине заявляю, что один колодочник может обслуживать не один конвейер, а сразу два, и берусь это доказать на деле. С прижимной машины перехожу на работу колодочника, несмотря, что колодочник получает меньше машиниста. Вызываю тт. колодочников последовать моему энтузиазму.

И месяц Головастов работал на подноске колодок. Сильно похудел, к концу работы губы были белые, а глаза глядели с тайною усталостью. Однако держался он вызывающе бодро и говорил:

- Определенно может один колодочник работать на два конвейера.

Через месяц на цеховом производственном совещании он заявил это самое. На него яростно обрушились колодочники:

- Ты месяц поработал, да опять к себе на машину уйдешь! Норму накрутишь, а сам выполнять ее не будешь. Не видали мы, как ты, высуня язык, с колодками бегал от конвейера к конвейеру?

Оська в ответ водил поднятою отвесно ладошкой и повторял:

- Товарищи! Ничего не поделаешь! Строительство социализма! Нужно напрягать все силы!

Помощник заведующего галошным цехом, инженер Голосовкер, тоже высказался против: экономия пустячная, 3 р. 25 к. на два конвейера, а истощение рабочего получается полное, это можно было наблюдать на самом товарище Головастове.

Оська вскочил, поднял ладошку:

- Прошу слова! - и заговорил: - Товарищи! Я вижу, что инженеру Голосовкеру нет дела до производства и до строительства социализма! Поэтому он и ведет саботаж всякому улучшению и всякому снижению себестоимости. Какая бы этому могла быть

причина? Вот мы все время в газетах читаем – то там окажется спец-вредитель, то там. Не из этих ли он спецов, которые тайно только и думают о том, чтобы всовывать палки в колеса нашего строительства?

Обычно такие нападки на инженеров проходили без протестов собрания, но тут все слишком были против Оськи, посыпались крики:

- Буде! Больно много болтает! Выслужиться хочет!

И не дали ему кончить.

* * *

На заводском дворе висел огромный плакат, где каждые две недели оповещалось о проценте брака на каждом из конвейеров. Но это были не голые, как раньше, цифры, в которых никто не мог разобраться. Великолепно были нарисованы работницы в красных, зеленых, белых косынках; одни неслись на аэроплане, мотоциклетке или автомобиле; другие ехали верхом, бежали пешие, брели с палочкой; третьи, наконец, ехали верхом на черепахе, на раке или сидели, как в лодке, в большой черной галоше. Против каждой из фигур указывался соответствующий процент брака: аэроплан, например, – от 1,3 до 1,9, верхом на лошади – от 3,6 до 4,0, в галоше – больше шести.

И работницы останавливались, рассматривали, на каком месте их конвейер.

- Ой, батюшки, стыд какой! Бредем с палочкой! Скоро, гляди, на черепаху сядем!

В цехах, у конвейеров и машин, висели темно-бурые «красные доски», и на них написано было мелом:

Конв. 15. Щанова – инициатор уплотнения работы намазки бордюра.

Сахарова – взявшая на себя промазку бордюра для двух конвейеров, благодаря чему сокращен штат на одного человека.

Или:

Конв. 6. Гребнева и Аргунова – за работу сверх нормы и без оплаты 100 пар материала и за отсутствие прогулов.

На черных досках висели фамилии прогульщиков.

Преуспевшим обещались премии, – денежные или поездками в экскурсии, в дома отдыха.

Всячески ворошили рабочую массу, теребили, подхлестывали, перебирали все струны души, – не та зазвучит, так эта; всех так или иначе умели приладить к работе.

Пионеры, – и эта тонконогая мелкота в красных галстучках была втянута в кипящий котел общей работы. Ребята, под руководством пионервожатых, являлись на дом к прогульщикам, торчали у «черных касс», специально устроенных для прогульщиков, дразнили и высмеивали их; мастерили кладбища для лодырей и рвачей: вдруг в столовке – картонные могилы, а на них кресты с надписями:

Здесь лежит прах рвача Матвея Гаврилова. Здесь покоится злостная прогульщица Анисья Пospelова.

Дежурили у лавок Центроспирта и пивных, уговаривали и стыдили входящих. Кипнем кипела работа. Лельке странно было вспомнить, как пуста была работа с пионерами еще два-три года назад: в сущности, было только приучение к революционной болтовне. А теперь... Какой размах!

* * *

Лелька работала на конвейере, где мастерицей была ее старая знакомая Матюхина. Курносая, со сморщенным старушечьим лицом. В ней Лелька вскоре научилась ценить высшее воплощение того, что было хорошего в старом, сросшемся с заводом рабочем. Вся жизнь ее, все интересы были в работе, неудачами завода она болела как собственными, все силы клала в завод, совсем так, как рачительный крестьянин – в свое деревенское хозяйство. Температурит, доктор ей: «Сдайте работу, идите домой». – «Ну, что там, вот пустяки! Часы свои уж отработаю». Умерла у нее дочь. Придет Матюхина в приемный покой, поплачет, примет брому – и опять на работу. Она жила в производстве и должна была умереть у станка, потому что для таких людей выйти «на социалку» и в бездействии, вне родного завода, жить «на отдыхе», на пенсии – хуже было, чем умереть.

Матюхина была «ударницей». Но по отношению к ней это стало только новым названием, потому что ударницей она была всем существом своим тогда, когда и разговору не было об ударничестве. И горела подлинным «бурным пафосом строительства», хотя сама даже и не подозревала этого. На производственных совещаниях горела и волновалась, как будто у нее отнимали что-то самое ценное, и собственными, не трафаретно газетными словами страстно говорила о невозможно плохом качестве материала, об организационных неполадках.

- Стараемся, а дело все не выигрывается, хоть на канате вверх тащи! Хоть ты караул кричи! Резина в пузырях, а то вдруг щепка в ней, рожица никуда не годится. Сердца разрыв чуть не получаем, вот до чего убиваемся! А контрольные комиссии у нас над каждым концом... На ком вину эту сорвать, не знаю, но надо бы кого-то под расстрел!

А из инженерской конторки приходила на свой конвейер взволнованная и измученно говорила девчатам:

- Вот! Опять брак вырос! За вчерашний день 54 пары брака. Ходила, ругалась в закройную передов и в мазильную.

И неумоимо ходила вокруг своего конвейера, осматривала и подмазывала каждую колодку, зорко следила, у какой работницы начинается завал, спешила на помощь и делала с нею ее работу.

* * *

Прорыв блестяще был ликвидирован. В октябре завод с гордостью рапортовал об этом Центральному комитету партии. Заполнена была недовыработка за июль - август, и теперь ровным темпом завод давал 59 тысяч пар галош, - на две тысячи больше, чем было намечено планом.

В газетах пелись хвалы заводу. Приезжали на завод журналисты, - толстые, в больших очках. Списывали в блокноты устав ударных бригад, член завкома водил их по заводу, администрация давала нужные цифры, - и появлялись в газетах статьи, где восторженно рассказывалось о единодушном порыве рабочих масс, о чудесном превращении прежнего раба в пламенного энтузиаста. Приводили правила о взысканиях, налагаемые за прогул или за небрежное обращение с заводским имуществом, и возмущенно писали:

Ах, как эти правила безнадежно устарели! Угрозы взысканиями за прогул и порчу имущества на фоне того, что происходило вокруг, отдавали чудовищной академической тупостью стандартного сочинителя правил...

На заводе читали такие статьи и хохотали.

Конечно, было все это хоть и так, но совсем, совсем не так.

* * *

Отдельных курилок на заводе нашем нет. Курят в уборных. Сидят на стульчаках и беседуют. Тут услышишь то, чего не услышишь на торжественных заседаниях и конвейерных митингах. Тут душа нараспашку. Примолкают только тогда, когда входит коммунист или комсомолец.

- Гонка какая-то пошла. В гоночных лошадях нас обратили. Разве можно? И без того по сторонам поглядеть некогда, - такая норма. А тут еще ударяться.

- Говорят: «семичасовой день». Да прежде десять часов лучше было работать. Не спешили. А сейчас - глаза на лоб лезут.

- Зато времени больше свободного.

- А на кой оно черт, время свободное твое, ежели уставши человек? Придешь домой в четыре и спишь до полуночи. Встанешь, поешь, - и опять спать до утреннего гудка. Безволие какое-то, даже есть неохота.

- Ну, слезай, Макдональд! Разболтался! Мне за делом, а ты так сидишь!

- На что мне ваше социалистическое соревнование? Что от него? Только норму накрутим сами себе, а потом расценки сбавят.

- Расценки сбавлять не будут.

- Не будут? Только бы замануть, а там и сбавят. Как на «Красном треугольнике» сделали. А тоже клялись: «Сбавлять не будем!» И везде пишут: «Мы! рабочие! единогласно!» Маленькая кучка все захватила, верховодит, а говорят: все рабочие.

Вздохали.

- Нет, царские капиталисты были попростоватее, не умели так эксплуатировать рабочий класс.

- Дурья голова, пойми ты в своей лысой башке. Ведь капиталисты себе в карман клали, а у нас в карманы кому это идет, - Калинин или Сталину? В наше рабочее государство идет, для социализму.

- Я напротив этого не спору. А все эксплуатация еще больше прежнего. Тогда попы говорили: «Работай, надрывайся, тебе за это будет царствие небесное!» Ну, а в царствие-то это мало кто уж верил. А сейчас ораторы говорят: «Работай, надрывайся, будет тебе за это социализм». А что мне с твоего социализму? Я надорвусь, - много мне будет радости, что внуки мои его дождутся?

- Вон пишут в газетах: «пламенный энтузиазм». Почему у нас соревнования подписывают? Коммунисты - потому что обязаны, другие - что хотят кой-чего получить. А нам получать нечего.

Такие струйки и течения извивались в низах. Не лучше случалось иногда и на верхах. Давали блестящие сведения в газеты, сообщали на производственных совещаниях о великолепном росте продукции. Неожиданно приехала правительственная комиссия, вскрыла уже запакованные, готовые к отправке ящики с галошами, - и оказалось в них около пятидесяти процентов брака.

* * *

Все это видела и знала Лелька. Но теперь это не обескураживало ее, не подрывало веры, даже больше: корявая, трудная, с темными провалами подлинная жизнь прельщала ее больше, чем бездарно-яркие, сверкающие дешевым лаком картинки газетных строчил.

Вовсе не все поголовно рабочие, как уверяли газеты, и даже не большинство охвачено было энтузиазмом. Однажды на производственном совещании в таком газетном роде высказался, кроя инженеров, Оська Головастов: что рабочий - прирожденный ударник, что он всегда работал по-ударному и горел производственным энтузиазмом. Против него сурово выступила товарищ Ногаева и своим уверенным, всех покоряющим голосом заявила, что это - реакционный вздор, что если бы было так, то для чего ударные бригады, для чего соревнование и премирование ударников?

По тем или другим мотивам активно участвовало в соревновании, вело массу вперед - ну, человек четыреста-пятьсот. Это - на шесть тысяч рабочих завода. Были тут и настоящие энтузиасты разного типа, всею душою жившие в деле, как Гриша Камышов, Ведерников, Матюхина, Ногаева, Бася. Были смешные шовинисты-самохвалы, как Ромка, карьеристы-фразеры, как Оська Головастов. Были партийцы, шедшие только по долгу дисциплины. Прельщали многих обещанные премии, других - помещение в газетах портретов и восхвалений.

И вот из всех этих разнообразнейших мотивов, - и светлых, и темных, - партия умела выковать одну тугую стальную пружину, которая толкала и гнала волю всех в одном направлении - к осуществлению огромного, почти невероятного плана. Вместе с этим - медленно, трудно - воспитывалось в рабочей массе новое отношение к труду, внедрялось сознание, с которым нелегко было сразу освоиться: нет отдельных лиц, которые бы наживались рабочим трудом, которых не позорно обманывать и обкрадывать, которых можно ощущать только как врагов. Пришел новый большой хозяин, - свой же рабочий класс в целом, - и по отношению к нему все старые повадки приходилось бросить раз навсегда.

Какими силами был ликвидирован прорыв? Как могло сделаться, что те самые люди, которые в июле - августе работали спустя рукава, множили прогулы и брак в невероятном количестве, - в сентябре - октябре встрепенулись, засучили рукава и люто взялись за работу? То же случилось, что отмечается наблюдателями и на войне. Везде большинство - средние люди, подвижная масса; и зависит от обстоятельств: могут грозным ураганом ринуться в самую опасную атаку, - могут стадом овец помчаться прочь от одного взорвавшегося снаряда. Зависит от того, какое меньшинство возьмет в данный момент верх над массой, - храбрецы или шкурники.

Так было и тут. Организованное, крепко дисциплинированное меньшинство клином врезалось в гущу бегущих, остановило их своим встречным движением, привлекло на себя все их внимание - и повело вперед.

* * *

Сын Лелькина квартирному хозяину, молодой Буераков, рамочник с их же завода, был ухажер и хулиган, распубликованный в газете лодырь и прогульщик. Раз вечером затащил он к себе двух приятелей попить чайку. Были выпивши. Сидели в большой комнате и громко спорили.

Лелька удивленно прислушивалась. Сквозь стену долетали слова: «пятилетка», «чугун и сталь», «текстильные фабрики»... Ого! Хохотала про себя и радовалась: Буераков с приятелями – и те заговорили о пятилетке!

В дверь раздался почтительный стук. Вошли спорщики. Буераков просил разрешить их спор: почему в пятилетке такой напор сделан на железо, уголь, машины в ущерб прочему?

Лелька объяснила. Буераков удовлетворенно сказал:

– Ну что? Не так я говорил? Откуда мы машины возьмем, – ткацкие там, прядильные и разные другие? Весь век из-за границы будем выписывать? Вот почему весь центр внимания должен уделиться на чугун, на сталь, на машины. Научимся машины делать, тогда будет тебе и сатинет на рубашку, и драп на пальто. Ну, спасибо вам. Пойдем, ребята... А то, может, с нами чайку попьете, товарищ Ратникова?

Лелька пошла, и весь вечер они проговорили о пятилетке.

* * *

С прошлого года завод обслуживала великолепная нарпитовская столовая, занимавшая левое крыло нововыстроенного универсама. Большой, светлый зал, кафельный пол, чистота.

У большого окна, за столиком, сидел за тарелкой борща инженер Сердюков. Лелька получила из окошечка свою тарелку борща и села за тот же столик. Нарочно. Ее интересовал этот молчаливый старик с затаенно насмешливыми глазами, крупный специалист, своими изобретениями уже давший заводу несколько миллионов рублей экономии.

Разговорились. Лелька ему понравилась. И он говорил – с чуть насмешливой улыбкой под седыми усами:

– Эн-ту-зи-азм?.. Да, пожалуй: рвение рабочих вам удалось искусственно подогреть новизною дела и энергичностью агитации; может быть, есть даже и настоящий энтузиазм. Но – долго ли может человек простоять на цыпочках? Как возможно в непрерывном энтузиазме, из года в год, ворочать на вальцах резиновую массу или накладывать бордюр на галошу?

Лелька спросила со скрытой враждою:

– Вы, значит, никакого значения не придаете соцсоревнованию и ударничеству?

– О-г-р-о-м-н-е-й-ш-е-е! Огромнейшее придаю значение. Но главное его значение не в том, что оно непосредственно поднимает производительность и качество труда. Это может тянуться месяц, два. Повторяю: на цыпочках долго не простоишь. Важно совсем другое. Ударничество дает возможность подойти к рабочему с определенными требованиями: ты, братец, сам вызвался, – так работай же добросовестно! В рабочем воспитывается совершенно новое для него отношение к труду. Может быть, – Сердюков насмешливо улыбнулся, – может быть, и у нашего рабочего в конце концов выработается подлинное уважение к труду, которое так бросается в глаза у западноевропейского рабочего. Только теперь начинаешь вздыхать посвободнее и перестаешь отчаиваться в будущем нашего производства. Ведь в течение целых десяти лет систематически вытрапливалось у рабочего всякое чувство ответственности, всякая дисциплинированность. Только директор или инженер попытаются хоть немножко подтянуть, – сейчас же поднимается травля в газетах, вмешивается завком, ячейка, – и руководство сменяется. И всякий предпочитал ни во что не вмешиваться, – пусть все идет, как хочет, а то заедят.

Вышла Лелька из столовой. Захотелось ей пройтись. Осенние дни все стояли солнечные и сухие. Солнышко ласково грело. Неприятный осадок был в душе от всего, что говорил инженер Сердюков; хотелось встряхнуться, всполоснуть душу, смыть осадок. Так все трезво, так все сухо. Так буднично и серо становится, так смешно становится чем-нибудь увлекаться. Даже Буераков – и тот давал душе больше подъема, чем этот насмешливый, до самого нутра трезвый человек, более, однако, нужный для завода, чем тысяча Буераковых.

Переваливаясь, медленно шла из парткома, с портфелем под мышкой, толстая Ногаева. Лелька нагнала ее.

– Погодка-то, а? Совсем как будто лето!

Пошли вместе. Говорили о работе временной контрольной комиссии по деятельности рабочих бригад, куда выбрали Лельку.

О результатах соцсоревнования. О будущих перспективах. Лелька сказала с усмешкою:

- Сейчас со спецом говорила. Смеется. Все это, говорит, вы искусственно разожгли. И никакого энтузиазма в рабочем классе нет. Хоть бы добросовестно работать научились, как западноевропейские рабочие, и то бы хорошо А что говорить об энтузиазме!

Ногаева, выпучив глаза, закуривала папиросу «Дели». Закурила и своим спокойно-уверенным, несомневающимся голосом ответила:

- Слыхала. Все спецы так. Читают газеты и смеются: где же это по-газетному? Все дело в том, как поглядеть. Гляди на того, на другого. Где энтузиазм? Так, серенький народ, что им до чего! Иван Иванович да Нюрка. Ему бы выпить, ей - с кавалерами погулять. А как попрут все вместе, вдруг почувешь: не Иван Иванович, не Нюрка, а - пролетариат. Каждый - серый, а вместе - блестят. Что же скажешь, - не они все вместе прорыв ликвидировали? Разожгли? Разожгли, верно. А песок ты разожжешь? Капиталисты рабочих на свою работу - разожгут?

Все больше Лельке начинала нравиться Ногаева.

* * *

Вечером пришла к Лельке ее сестра Нинка. За последний год стала она серьезнее и сдержаннее, но как будто замкнулась от Лельки с того времени, как они прекратили общий дневник. Видались редко.

Сегодня Нинка с блестящими глазами накинулась на Лельку.

- Прочла в газетах, как вы прорыв ликвидировали. Рассказывай. Поподробней. Как все было.

Лелька рассказывала, и помимо ее воли, как всегда в таких рассказах, все выходило глаже, завлекательней и ярче, чем было на самом деле, Нинка жадно слушала. Лелька с радостью почувствовала: Нинка горит тем же восторгом, как и сама она.

Сидели долго, пили чай и хорошо говорили.

- Вот теперь - да!.. Лелька, помнишь, как тосковали мы по прошедшим временам, как мечтали об опасностях, о широких размахах? Ты тогда писала в нашем дневнике: «Нет размаха для взгляда». А теперь - какой размах! Дух захватывает. Эх, весело! Даже о своих зауральских степях перестала тосковать. Только и думаю: кончу к лету инженером - и всею головою в работу.

- А как насчет шарлатанства?

Черные брови Нинки набежали на глаза и затемнили лицо.

- Не хочется об этом сейчас думать. Хочется бороться, хочется действовать. Поле открывается огромное. Шарлатанство свое я спрятала в карман.

- А все-таки - не выбросила совсем?

- Нет. В душе мне и теперь часто хочется засунуть руки в карманы и над многим хохотать, и на многое злиться.

Почувствовали себя сестры теплее и ближе друг к другу. Простились задушевно и решили чаще видеться.

* * *

Шла Лелька с работы. Вдруг кто-то пожал ей сзади руку выше локтя. Она обернулась и увидела ласково улыбающееся лицо Гриши Камышова, секретаря комсомольского комитета, с трубкою в руке.

- Вот что, Лелька. На бюро мы решили тебя и еще несколько девчат и парней передать в партию. На той неделе будет молодежный вечер, - торжественно будем вас тогда передавать.

Лелька стояла, разинув рот. Наконец сказала:

- Буде дурака ломать!

- Да не ломаю дурака. Взаправду.

- В партию?..

Были осенние сумерки, слякоть. Лелька, забыв пообедать, ушла далеко в лес. Капельки висели на иглах сосен, туман закутывал чащу. Лелька бродила и улыбалась, и недоумевала. Что такое? Что она такого особенного делала, за что такая небывалая, огромная честь? Остановливалась с застывшей на лице улыбкою, пожимала плечами, раздражалась смехом и опять без дороги шла через чащу леса, обдававшую ее брызгами.

Появились на заводе десятки, чуть не сотни надсмотрщиков, – непризнанных и непрошенных. Девчата и парни шныряли по заводу, следили за простоями машин, за отношением рабочих к инструментам и материалу, за сохранностью заводского имущества. Во главе этого стойкого молодого отряда стоял неутомимый и распорядительный командир – Юрка Васин.

Очень сильно крали резину. Это составляло больное место завода. Материал был ценный, валютный; приходилось сокращать производство из-за нехватки резины. А ее крали бесстыдно, – ловко, через все охраны, выносили каким-то образом из завода и за большую цену продавали частникам-кустарям. И никак не удавалось выследить воров. А ясно было, что тут работает организованная шайка.

По заводскому двору подъехал к воротам полук с пустыми бочками. У ворот стоял Юрка с другим парнем и двумя девчатами. Сверкнув улыбкою, весело спросил возчика:

– Порожние бочки везешь?

Бородатый возчик неохотно ответил:

– Знамо, порожние. А тебе что!

– Из-под мела бочки?

Возчик угрюмо отвернулся и крикнул сторожу, чтобы отпирал ворота. Юрка весело усовещивающим голосом сказал:

– погоди, дядя! куда спешишь! И куда это все торопят, – как будто где их кто с водкой ждет!

– Что вы, сукины дети, делаете?! Весь воз разворочали! Потом опять за вами увязывай! К черту! Отваливай!

– погоди, дядя, не толкайся, мы это и сами умеем! Завяжем тебе воз... – Вдруг Юрка оборвал свои шутки и задохнулся от радости. Крикнул товарищам: – Ребята! Смотрите!

В бочке лежал большой, килограммов в сорок, кусок каучука. Ребята быстро стали сбрасывать бочки, заглядывали внутрь, не слушая ругательств возчика. В пяти бочках еще нашли по куску резины. Юрка командовал:

– Сонька, беги в охрану, позови дежурного агента уголовного розыска.

Столпились вокруг выходящие из механического цеха рабочие. Возчика повели в охрану. Он исподлобья бросил на Юрку ненавидящий взгляд. Рабочие толпились, расспрашивали, в чем дело, что случилось.

– Он, видишь, в пустых бочках краденый каучук вывозил из завода, а комсомолец на него доказал.

– Какой такой? Где он?

Указывали на Юрку. Оглядывали его с ног до головы и молча направлялись к выходу.

Юрка знал, – если бы подойти к ним вплотную, если бы спросить: «Ну, как, – можно это допустить, чтобы разбазаривали самое ценное имущество завода?» – они бы ответили: «Ясное дело, нет. Это – безобразие». И все-таки – что он вот выследил, накрыл, донес, – они за это чувствовали к нему безотчетное омерзение и способны были объяснить его действия только одним: «Старается пролезть». Юрка и в самом себе помнил совсем такие настроения.

Теперь такое отношение уже не тяготило его, не приводило в отчаяние. Крепко запомнилось, что ему раз сказала Лелька: «Ты в прошлом году мечтал о буденновской кавалерии. Если бы ты в ее рядах сражался, страдал ли бы ты от того, что тебя ненавидят белые? Война есть война. Мы боремся за совершенно новое отношение к труду и производству, – что ж удивляться, что нас ненавидят рабочие, живущие в старых понятиях. В чем дело? Так и должно быть!» После случая со слесарями, устанавливавшими в вальцовке вал, для Юрки тут не было уже никаких сомнений. На презрительные замечания: «Гад! Провокатор!» он смеялся сверкающим своим смехом и, балагуря, доказывал ругателям их неправоту.

Юрка упоенно жил теперь пылом новой напряженной борьбы, так неожиданно открывшейся перед ним в обыденной, казалось, и такой скучной жизни. И была полная уверенность в себе. За ним стояла партия, и через Лельку Юрка убедился несокрушимо, что она хорошо знает, что делает: можно смело и весело ввериться ее руководству, можно весело бросаться в неразбериху боя; там где-то, на вышке, стоят сзади мудрые вожди, озирают все место боя и хорошо знают, зачем они Юрку посылают именно туда, а не туда; зачем заставляют делать то, а не то.

А с Лелькой отношения у него все оставались трудными. За беззлобное свое остроумие, за беззатратную веселость, за блеск улыбки он большим успехом пользовался у девчат; одной даже платил алименты. Романы кончались различно, но это было у всех одинаково: когда ухаживания увенчивались желанным концом, отношения становились

простыми и само собою разумеющимися. Вопрос был только: где и как встречаться наедине? При жилищных трудностях это было нелегко.

А тут, с Лелькой, уж не один месяц продолжалась их близость, но как будто ничего между ними никогда и не было. Каждый раз, когда он пытался подойти к ней с уверенностью близкого человека, она так решительно отстранялась от него, что Юрка совершенно терялся. Близость ее была для него всегда сладкою неожиданностью, всегда она оставалась для него страстно желанной, далекой и недоступной. Вглядываясь в любимую со страдающим желанием, он с удивлением спрашивал себя: да неужели было, что она с мерцающими из-под ресниц глазами давала горячо ласкать себя, жарко целовала вот этими строгими губами? И ему хотелось схватиться за голову руками и рыдать, рыдать.

* * *

В цехах, на заводском дворе и на заборе летнего помещения клуба пестрели красным и черным большие плакаты.

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕЧЕР

1. Доклад о революционном движении среди молодежи Запада.
2. Передача комсомольцев в партию и пионеров в комсомол
3. Художественная часть Выступления «Синей блузы».

Назначено было начало в семь часов, но, как всегда, не начали еще и в восемь. Первые ряды сплошь были заняты ребятишками и подросточками в красных галстуках; их пустили в зрительный зал раньше взрослых, чтобы они смогли занять передние места. Шум, гам, смех. Рыженький, в веснушках, комсомолец, вожатый отряда, стоял перед первым рядом стульев.

- Ребята, давайте пока петь.

Пели дружно, добросовестно раскрывая рты.

Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц,
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ.

Сбоку, на маленькой эстраде для музыкантов, взрослые девчата, теснясь, толкаясь и смеясь, танцевали вальс под рояль, - играла на рояле одна из девчат. Танцевала и Лелька. Она взволнованно хохотала, дурила. И в душе досадовала: почему так волнуется? Ну да, она из тех, которых сегодня комсомол, как лучших своих членов, торжественно передает партии; да, она гордится, радуется. Но чего же внутренне дрожать? И все-таки дрожала и смеялась смехом, которого не могла сдержать. И все обычное, приглядевшееся казалось вокруг торжественно-необычным.

Пришли музыканты, прогнали девчат. Зазвенели звонки. Отдернулся занавес. Длинный стол под красной скатертью, большой графин с сверкающей под лампочкою водой. Как раз над графином - продолговатое, ясноглазое лицо Гриши Камышова, секретаря комсомольского комитета. Он встал, объявил собрание открытым, предложил избрать президиум. Избранные рабочие, работницы и пионеры заняли места на сцене.

Взошел на трибуну Камышов и привычно-четким голосом сказал вступительное слово. Сказал о молодежи, о надеждах, которые она должна оправдать, о работе, какую должна сделать.

- Владимир Ильич давал характеристику, которая примерно характеризуется так: ставьте на все места молодых, - они смелее, независимее, энергичнее стариков... Давайте, товарищи, оправдаем эту истину. Будем строить новый мир, будем рушить законы, быт, людей, вещи, - все, что путается в ногах. Да здравствует комсомол! Да здравствует партия! Да здравствует Третий интернационал!

Оркестр заиграл «Интернационал». Все встали. Пионеры стояли с серьезными лицами, подняв правые руки ладонями вперед. Лелька всегда любила этот прелестный пионерский жест и любовалась лесом замерших в воздухе молодых рук, безмолвно говоривших:

«Всегда готовы!»

Потом вышел докладчик, военный, с огромным револьвером у пояса. Он говорил длинно и скучно, без подъема. Рассказывал историю комсомола на Западе, говорил о

материализме Маркса, о разоблаченных им всяческих «мистических тайнах».

- Маркс доказал, что абсолютно для нас нет ничего неведомого. Мы все видим, все слышим, все понимаем! Мы все можем исследовать, нас ничего не может остановить...

Говорил очень долго. По всему залу шли разговоры. Председатель несколько раз давал предупредительный звонок. Докладчик глядел на часы в браслете, отвечал: «Я сейчас!» и все сыпал в аудиторию сухие, лишённые одушевления слова. Самодовольно-длинные и зевотно-скучные доклады были привычным злом всех торжеств, и их терпеливо выносили, как выносят длинную очередь в кино с интересной фильмой: ничего не поделаешь, без этого нельзя.

Наконец кончил. Выступила еще Бася с маленьким докладом об ударных бригадах. Гриша Камышов встал и заявил:

- Товарищи! К нам сейчас приехали товарищи из Коминтерна и КИМа - делегаты от Германии, Чехословакии, Китая и американских негров. Предлагаю ввести их в президиум.

Бурные рукоплескания. Делегаты появились на сцене. На трибуну взошел высокий, плечистый немец и стал говорить на немецком языке приветствие. Скандал! Переводчика не нашлось, - никто не знал немецкого языка! И уж, конечно, никто не знал и английского, когда с трибуны заговорил курчавый негр в пиджаке, с ласковыми, тайно страдающими глазами. Но ничего! Слышали незнакомые звуки и восторженно рукоплескали. Понятно было и без слов, что они передавали советской молодежи привет от борющейся и преследуемой революционной молодежи Запада и Востока.

Лелька стояла за кулисами в толпе других комсомольцев, передаваемых в партию.

И вот поднялся секретарь общезаводской комсомольской ячейки Камышов с очень серьезным лицом и торжественно сказал:

- Товарищи! Мы выделили из своей среды лучших комсомольцев и сегодня передаем их в партию. Лучшие, достойнейшие пионеры передаются сегодня в наш комсомол.

Лелька стояла рядом с Юркой. Она крепко сжала его пальцы и озорно шепнула:

- Когда буду отвечать на приветствия, тебя взгрею!

Юрка испугался.

- О? За что?

- Увидишь!

Шагая в ногу, на сцену выступили пионеры и пионерки, выстроились в ряд. За ними вторым рядом встали комсомольцы. На трибуну поднялся представитель райкома, говорил о пятилетке, о строительстве социализма и приветствовал новые кадры, идущие на подмогу партии.

С ответным словом выступила Лелька.

Когда она увидела под собой море голов и звездное небо смотрящих глаз, душу обдало радостною жутью. Тут были друзья, с которыми вместе она боролась; были враги, которые на каждом шагу старались ставить им преграды; была тяжелая масса равнодушных, для которых все было безразлично, кроме собственного заработка. Всем она хотела передать то, чем была полна ее душа.

И она начала:

- Товарищи! Иногда приходится слышать от ребят: «Эх, опоздали мы родиться! Родиться бы нам на десять лет раньше, когда шли бои по всем фронтам. Вот когда жизнь кипела, вот когда весело было жить! А теперь - до чего серо и скучно! Легкая кавалерия - да! Что ж! Это дело хорошее. А только куда бы интереснее быть в буденновской кавалерии...»

По зале пронесся сочувственный мужской смех. Юрка смущенно кашлянул. Лелька продолжала:

- А я, когда думаю о нашем времени, то говорю себе: в какое редкое, в какое счастливое время, ребята, мы с вами родились! Вы только подумайте, только представьте себе это ясно: нигде никогда в мире не бывало ничего такого, что сейчас у нас. Человек трудился для обогащения богачей. Как он мог любить свой труд, как мог его уважать? Как мог находить жизнь в труде? Только теперь, у нас, здесь, мы работаем не для своего или чужого обогащения, а в самом труде своем работаем над созданием новой, еще не виданной на земле жизни; в первый раз труд сам по себе становится великим общественным делом. Когда я об этом ясно подумаю, у меня от восторга сердце хочет выскочить из груди. Как интересно, как весело стало работать! Труд, который мы привыкли считать таким скучным, таким будничным, - ребятки, до чего же он интересен! И в нем теперь - всё! Не лихие разведки теперь нужны, не скакать под огнем пулеметов, не сражаться в воздухе с аэропланами, а вот сидеть с роликом, нагнувшись над стелькой или задником, стараться, чтоб подошва на галоше не отставала, повторять лозунг, который висит у нас в столовке:

За задник хороший! За лучший носок!
За крепость галоши – вперед, комсомол!

Вот за что, ребята, вперед! И полюбить нужно эту работу, найти в ней счастье, поэзию и красоту, увидеть величайшую нашу гордость в том, чтоб работа наша была без брака, была бы ладная и быстрая. Помните, товарищи, что в этих производственных боях мы завоевываем не условия для создания социализма, а уже самый социализм, не передовые там какие-нибудь позиции, а главную, основную крепость.

И она обратилась к сидевшему за столом президиума члену райкома:

– Прежние поколения шли в ленинскую партию, испытанные в боях, обстрелянные, израненные. Когда понадобится, и мы по первому призыву партии пойдем под пули, снаряды и ядовитые газы. Пока же в боях мы не были. Но мы уже прошли тяжелые бои на производстве, бои с безразличием администрации, с инертностью организаций, с отсталыми настроениями рабочих. Мы познали красоту стоящей перед нами работы и поэзию будничного труда, мы познали завлекательность повседневной борьбы и радость достижений на производственном фронте. И вот это всё, товарищи, мы теперь и приносим к вам в партию!

Ой, что началось! Хлопали с воодушевлением, с восторгом и долго не хотели затихнуть. Бася из-за стола президиума улыбалась суровыми черными своими глазами и приветливо кивала Лельке. Член райкома, наклонившись к председателю, спрашивал ее фамилию. Лелька стремительно села рядом. С чуть заметной усмешкой на тонких губах товарищ обратился к ней:

– Все это очень хорошо, как ты говорила. А только напрасно ты с таким пренебрежением отозвалась о лихих разведках и воздушных боях. Ты же знаешь, каждую минуту это может потребоваться опять.

Лельке странно было слушать: если бы товарищ из райкома знал, сколько ей пришлось выдерживать споров, чтоб приучить товарищей уважать «легкую» кавалерию не меньше, чем буденновскую!

Медный гром «Интернационала» оборвал рукоплескания и разговоры. Это было заключение вечера, теперь играли не отрывок гимна, а весь его целиком. Все поднялись. Опять над передними рядами вознесся лес поднятых детских рук. Все стояли, и все громко пели:

Это есть наш последний
И решительный бой
С Интернационалом
Воспрянет род людской

И гости, из Коминтерна пели – каждый на своем языке. Плечистый великан-немец стоял сзади Лельки, она слышала над самым ухом его крепкий, густой голос:

Volker, hort die Signale,
Auf zum letzten Gefecht!
Die Internationale
Erkämpft das Menschenrecht!

А направо от Лельки стоял молодой китаец с ровно смуглым лицом и неодинаково длинными зубами, с кимовским значком на пиджаке. Высоко подняв голову, он пел дребезжащим тенором:

Чжи ши цзуэйхоуди доучжен,
Туандьци цилай дао, миньтянь
Интенасьоналы
Цю идин яо шисянь!

Негр пел по-английски, чехословак – по-чешски. Это звучало удивительно сильно – именно, что каждый пел на своем языке, а смысл всех разноязычных слов был одинаковый, и всех их объединяла общая музыка. От грозно торжествующих медных звуков, от родной песни, от братского разноязычного хора все сладко сотрясалось в душе Лельки. Да! У них, только у них вправду объединены все народы, не то что у излищемерившегося христианства. И гордый собою англичанин, и этот презираемый на

родине ласковоглазый негр, и немец, и китаец, и индус – все в общих шеренгах, плечом к плечу, идут на штурм старого мира. Оркестр гремел. Длинные, пронзительно-ясные медные звуки высоких нот полосами тянулись поверх зала, а под ними тяжело ухали, вдвое скорее, басовые трубы:

С Интернационалом
Воспрянет род людской!

Звуки человеческих голосов заполняли все кругом, – голоса товарищеской массы, с которой Лелька эти полтора года работала, страдала, отчаивалась, оживала верой. И гремящее, сверкающее звуками море несло Лельку на своих волнах, несло в страстно желанное и наконец достигнутое лоно всегда родной партии для новой работы и для новой борьбы.

Лелька нахмурилась, перестала петь и испуганно прикусила губу. Позор! Ой, позор! Комсомолка, теперь даже член партии уже, – и вдруг сейчас разревется! Быстро ушла за кулисы, в самом темном углу прижалась лбом к холодной кирпичной стене, покрытой паутиной, и сладко зарыдала.

– Ч-черт! Все бензин!

Бензин, который на производстве вдыхает галошница из резинового клея, правда, расстраивает нервы. Но сейчас виноват был не бензин. Просто, это был самый счастливый день в жизни Лельки.

* * *

С Ведерниковым Лелька иногда встречалась на общей работе, но он по-прежнему неохотно разговаривал с нею и глядел мимо.

Предстоял московский, а потом всесоюзный съезд ударников. На 8 ноября была назначена заводская конференция ударных бригад для выбора делегатов на съезд. ВКК – временная контрольная комиссия по работе ударных бригад – поручила своим членам, Ведерникову, Лельке и Лизе Бровкиной, подготовить отчет для конференции: столкнитесь там между собою, выработайте сообща, и кто-нибудь из вас выступит.

Сговорились собраться через два дня втроем у Ведерникова. Но вдруг накануне Лиза Бровкина заболела тяжелой ангиной. А откладывать нельзя, – конференция на носу. Нужно было обернуться вдвоем. Лелька смутилась, испугалась и обрадовалась, как девочка-подросток, что ей одной придется идти к Ведерникову. Весь вечер она опять пробродила по лесу. Глубоко дышала, волновалась, жадно любовалась под мутным месяцем мелко запушенными снегом соснами, – как будто напудренные мелом усы и ресницы рабочего мелового цеха.

Назавтра под вечер Лелька приделась, собрала бумаги. Но в передней столкнулась со стариком Буераковым. Глядя глубоко сидящими глазками, он сказал:

– Погодите, у меня к вам вопросец. Вы человек высокообразованный, хочу вас поспросить. Был я наемни на докладе товарища Рудзутака, и он такую штуку загнул. Говорит: «Маркс, как никто другой, понимал механику революции». Как вы скажете, – правильно это он изъяснил?

– По-моему, правильно.

– А я говорю: неправильно.

– Почему?

– А вот потому.

Лелька нетерпеливо поморщилась.

– Ну, именно?

– Вот именно. Он – член ЦК, даже член Политбюро, притом же заместитель председателя Совета народных комиссаров, а я – исключенный из партии. Хотя однако! Все-таки председатель ячейки воинствующих безбожников. И я вот утверждаю: неправильно он это изъяснил.

– Да почему же? Говорите скорей, я спешу.

– Вот потому. – Он помолчал, грозно нахмурил брови. – А Ленин? Про Ленина он забыл? Мне очень желалось спросить товарища Рудзутака, чтобы он мне вкратце ответил, по какой причине он в этом деле забыл товарища Ленина? Ленин, значит, хуже Маркса понимал механику революции?

– Да, это, конечно, так... Ну, мне надо идти.

– Та-ак?... Ха-ха! Во-от!

Оказалось, Ведерников жил в том же кооперативном доме и по тому же подъезду, где

жил Юрка, только двумя этажами выше. Когда Лелька поднималась по лестнице, у нее так забилось сердце, и она почувствовала, – она так волнуется, что решила зайти к Юрке передохнуть.

Юрка был один и усердно читал учебник ленинизма.

– Иду к Ведерникову по делу. Зашла кстати тебя проведать.

Юрка очень обрадовался. Робко взял ее за локти, хотел поцеловать в открытую шею. Лелька инстинктивно отшатнулась, очень резко. Постаралась загладить свою грубость, положила ему руки на плечи и поцеловала в губы.

Юрка спросил:

– Что это ты какая нарядная?

Лелька озлилась.

– Где нарядная, в чем? Чистое платье надела, – и уж нарядная!

– Ну, ну, я ничего. Я так.

– Дай-ка воды выпить. Похолоднее. Из крана.

Ходила по комнате. Разговаривала. Но иногда на вопросы Юрки забывала отвечать. Задумывалась. Вполголоса сказала сама себе:

– Черт знает что!.. Ну, пока!

И ушла.

Ведерников ее поджидал. Она с любопытством оглядела украдкой его комнату. Было грязновато и неудобно, как всегда у мужчин, где не проходит по вещам женская рука. Мебели почти нет. Портрет Ленина на стене, груда учебников на этажерке. Ведерников сидел за некрашеным столом, чертил в тетрадке фигуры.

– Чем это ты занимаешься?

Он поднялся, устало провел рукою по лбу.

– Геометрическую задачу решал.

Сложил тетрадку, положил на этажерку. Лелька села на подоконник и развязно болтала ногою.

– Здорово тебе работать приходится. И на производстве, и общественная работа, и на рабфаке. Как выдержишь!

– Ну, как будем материал обрабатывать? Сядь к столу.

Сели, стали разбираться в цифрах: количество ударных бригад, снижение брака, результаты соревнования. Работа была огромная. Сидели до позднего вечера. Оба увлеклись.

Ведерников с злыми глазами говорил:

– Инженеры не оказывают никакой помощи, на этом необходимо заострить вопрос. Соревнование идет мимо них. И мы определенно должны сказать на конференции: «Товарищи! Вы ни черта нам не помогли!»

– Правильно. Ну, погоди. Значит, – выводы? Первый: соцсоревнование себя оправдало как метод вовлечения рабочих масс в руководство нашим заводом.

– Так. Второе, – обязательно: рабочий с самого начала подхватил хорошо, но организации проспала, встряхнулись только после лета.

Хорошо работалось. Почувствовали себя ближе друг другу. Выработали тезисы.

Ведерников сидел, понутив голову, и вдруг сказал:

– Да. А по правде ежели сказать, трудно будет, понимаешь, широко развернуть у нас ударное дело. Лелька изумилась.

– Почему?

Он помолчал и ответил:

– Деревня.

– Что – деревня?

– Сколько у нас настоящих пролетариев на заводе, много ли? Все больше деревенские. А что им до завода, до производства? Им бы дом под железом построить себе в деревне, коровку лишнюю завести, свинью откормить пожирнее... Собственники до самой печенки, только шкура наша, пролетарская.

Лелька радостно слушала. В первый раз Ведерников говорил с нею задушевно, без отчужденности. Ее глаза светились жадным вниманием, она не отрывала их от глаз Ведерникова.

– У меня даже такая, понимаешь, идея: не нужно бы совсем их на заводе, гнать вон всех без исключения. Это злейшие классовые наши враги... Э-эх! Пока не переделаем деревню, пока не вышибем из мужичка собственника, не будет у нас дело ладиться и со строительством нашим. Вся надежда только на коллективизацию.

Был уж второй час. Ведерников спросил:

– Кто доклад будет делать?

– Как хочешь.

- Сделай лучше ты. Ты здорово говоришь, умеешь публику разжечь.

Лелька вспыхнула от радости: никогда она не ждала, что он скажет ей так. До смешного покраснела и засияла, как маленькая девочка.

- Да и правду ты сказала, - уж очень мне работы много и без того. Совсем времени нету.

Лелька взглянула с загоревшеюся ласкою.

- Я очень рада. Где тебе, правда! Работа огромная. А у меня времени много свободного. Разберу, подсчитаю все цифры, дам диаграммы. Чудесно все сделаю, ты уж ни о чем об этом не думай.

Ведерников не шевелился и пристально глядел ей в глаза. В квартире было очень тихо. Лелька встала и медленно начала собирать бумаги. Взглянула на часы в кожаном браслете.

- У, как поздно. Ну, пока!

И протянула руку. Ведерников задержал в руке ее руку и все продолжал смотреть в глаза. Потом, не выпуская руки, левою рукою обнял Лельку за плечи, положил сзади руку на левое ее плечо и привлек к себе. Лелька вспыхнула и обрадованно-покорным движением подалась к нему.

* * *

Утром Юрка стремительно выскочил на площадку лестницы, надевая на ходу пальто. Сверху медленно спускалась Лелька, с необычным, как будто солнцем освещенным лицом.

Юрка в изумлении остановился, рассмеялся было от неожиданности, но вдруг побледнел. Стоял с еще зацепившеюся за лицо улыбкою и ничего не говорил.

Лелька равнодушно спросила:

- Ты на работу?

- Ага!

- Чего так рано вылетел?

- Кажется, опоздал.

Лелька взглянула на часы в браслете.

- Нету и семи. Еще первого гудка не было.

И так же медленно пошла по лестнице вниз. Юрка остался стоять на площадке.

* * *

Лелька и Ведерников стали видеться.

Ее мучило и оскорбляло: во время ласк глаза его светлели, суровые губы кривились в непривычную улыбку. Но потом на лице появлялось нескрываемое отвращение, на вопросы ее он отвечал коротко и грубо. И даже, хотя бы из простой деликатности, не считал нужным это скрывать. А она, - она полюбила его крепко и беззаветно, отдалась душою и телом, гордилась его любовью, любила за суровые его глаза и гордые губы, за переполнявшую его великую классовую ненависть, не шедшую ни на какие компромиссы.

С любящим беспокойством она стала замечать, что Ведерников глубоко болен. Однажды, в задушевную минуту, он сознался ей: странное какое-то душевное состояние, - как будто разные части мозга думают отдельно, независимо друг от друга, и независимо друг от друга толкают на самые неожиданные действия. Иногда бывают глубокие обмороки. И нельзя было этому удивиться: при той чудовищной работе, какую нес Ведерников, иначе не могло и быть.

Как-то вечером пришел Ведерников к Лельке, а ее задержали на собрании ячейки. Вошла она и видит: вешалка снята с крюков и положена на пол, Ведерников с восковым лицом неподвижно лежит около радиатора, в пальто и в кепке. Она стала брызгать ему в лицо водой, перетащила к себе на постель. Он пришел в себя. Огляделся. Сконфуженно нахмурился и быстро сел.

Тут-то Лелька и узнала, что он болен. За чаем Ведерников рассказал, как с ним это сегодня случилось, и губы при этом кривились на сторону сконфуженной улыбочкой.

- Много сегодня занимался. Пришел, значит, к тебе, стал ждать. Смотрю на вешалку. И соображаю: сниму вешалку, к крюку привяжу веревку, повешусь. А когда ты придешь, то снимешь меня, понимать, с крюка, и мы сядем чай пить. Да вдруг и свалился на пол.

Лелька взволнованно подошла, крепко прижала его голову к груди и сказала:

- Дорогой мой! Любимый!

И стала убеждать сократить работу, отдохнуть, в крайнем случае даже бросить рабфак.

- Что-о? - Он грозно блеснул глазами и отстранился от нее. - Вот дурища! Рехнулась. И засмеялся.

Она этот вечер была с ним особенно ласкова. Говорила о несравненном героизме рабочего класса, о том, как люди гибнут в подвигах невидно, без эффектных поз. Вспоминала Зину Хуторецкую. И робко гладила его волосы.

* * *

Из «Устава Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи»:

2. Порядок приема в члены и кандидаты ВЛКСМ следующий:

а) В члены союза принимается рабочая и крестьянская молодежь без кандидатского стажа и рекомендаций;

б) В кандидаты членов союза принимаются учащиеся непролетарского происхождения, служащие и интеллигенты;

в) Для кандидатов устанавливается полуторагодовой кандидатский стаж.

Арон Броннер, брат Баси, отбыл свой кандидатский стаж. Ячейка закройного цеха, где он работал, высказалась за его перевод в члены комсомола: его любили. Когда Арон разговаривал, на лице появлялась мудрая и добрая улыбка. В старинные времена в каком-нибудь глухом еврейском местечке Западного края он, наверное, был бы уважаемым раввином, общим судьей и учителем, всех себе подчиняющим своею благостно-мудрою улыбкою. Кроме того, Арон был ценный активист. Диалектический материализм - предмет трудный, особенно для малоподготовленных: Арон же излагал его так увлекательно, что отбою не было от рабочих и работниц, желавших записаться в кружок по изучению диамата.

Иначе дело повернулось на общезаводском собрании комсомола. Выступил Афанасий Ведерников и спросил резко, обращаясь на «вы»:

- Скажите, пожалуйста, кто ваш отец?

- Мой отец - бывший крупный торговец.

- Вы проклинаете его деятельность или нет?

Арон ответил, пряча улыбку в толстых губах:

- Какой смысл проклинать? Сам я торговлей никогда не занимался и заниматься неспособен, живу собственным трудом. А проклинание - занятие совершенно бесполезное.

Ведерников сурово слушал, глядя в сторону.

- А зачем вы к нам поступили на завод? Чтобы остаться рабочим или для, так сказать, своих каких-нибудь целей?

Арон смутился и застенчиво улыбнулся. Бася все время сидела в президиуме, как окаменелая, и неподвижно смотрела в окно.

- Во-первых, я желаю зарабатывать деньги собственным трудом.

- А во-вторых? Высказывайтесь, не стесняйтесь!

- А во-вторых, - что отказываться? Да, я хотел бы дальше учиться. Мне кажется, у меня есть некоторые способности. И не думаю, чтобы такое желание могло почесться большим преступлением.

Когда стали обсуждать его кандидатуру, Арон застенчиво направился к выходу. Этого никто никогда не делал, это не было принято, и это не понравилось: интеллигентщина. Ему крикнули:

- Чего уходишь? Думаешь, при тебе побоимся говорить?

Арон конфузливо сел в последнем ряду. Поднялся опять Ведерников.

- Гражданин Арон Броннер - сын торговца, нам совершенно чуждый элемент. Ему комсомольский билет нужен только для того, чтобы продвинуться. Он, понимать, не чает, как получить комсомольский билет, чтобы козырять им. Ему прямой смысл. Комсомольский билет спасет его от всяких препятствий, зарегистрирует его от этого, расчитит ему дорожку в вуз.

Дивчина из кружка Броннера крикнула:

- Он активно работает!

- Активно работает, правильно! А только работа эта, понимаешь, - с целью! Он сам с цинизмом проговорился тут, что ему нужно пробраться в вуз. Поработает у нас два года, чтобы получить рабочий стаж, и смотается с завода.

- Смотается, чтобы учиться! А ты сам чего на рабфак поступил, - не учиться?

Ведерников грозно поглядел в публику.

- Та-ак... Ты, товарищ, значит, высказываешься против этого, чтобы пролетариат завладел вузами и вытеснил оттуда социально негодные элементы? Встань, товарищ, покажи себя собранию, мы на тебя поглядим! Стесняешься? Ну, и хорошее дело, постесняйся!.. И еще вот на что, товарищи, я хочу заострить ваше внимание. Я несколько раз ходил в кружок Броннера, прислушивался. И, значит, заметил, что он свое «я», свои доводы, свои аргументы ставит, понимаешь, выше коллектива и, может быть, даже выше ленинизма. Он себя, одним словом, считает сверхъестественным человеком. Нам такие в комсомоле не нужны.

Потом выступил Оська Головастов, говорил, как всегда, театрально-напыщенным голосом, а по губам блуждала самодовольная улыбка.

- Товарищи! Сейчас по всем фронтам идет жестокая борьба с классовым врагом, он везде старается прорвать наши фронта, между прочим и фронт просвещения...

За Арона голосовали только его ученики по кружку и большинство ребят из закрытой передов. Остальные голосовали против, в том числе и Лелька. Арона провалили. Тогда еще раз встал Ведерников. Бася побледнела. А он, беспощадно глядя, сказал:

- Предлагаю сообщить в партком и завком, что Арон Броннер сам сознался, что поступил к нам в рабочие, чтобы пролезть в вуз, и чтобы ему никак не давали бы путевки.

* * *

Через неделю Арон Броннер ушел с завода. Лицо Баси сделалось суше и злее. Во взглядах своих и действиях она стала еще прямолинейнее.

* * *

Однажды вечером Лелька пришла к Ведерникову. Хорошо говорили, он был ласков.

А поздней ночью случилось так. Насытись друг другом, они лежали рядом под одним одеялом. У Лельки была сладкая и благодарная усталость во всем теле, хотелось с материнскою ласкою обнять любимого, и чтобы он прижался щекою к ее груди. А он лежал на спине, стараясь не прикасаться к ее телу, глядел в потолок и мрачно курил.

И вдруг сказал брезгливо:

- Не нравится мне, как мы с тобою крутим. Ваша какая-то, интеллигентская любовь. Для самоуслаждения. Чтоб только удовольствие друг от друга получать. Я понимаю любовь к девушке по-нашему, по-пролетарскому: чтобы быть хорошими товарищами и без всяких вывертов иметь детей.

Лелька сдержанно ответила:

- Отчего же нам с тобою не быть товарищами? А от детей я вовсе не отказываюсь. И даже очень была бы рада иметь от тебя ребенка.

- Ну, какие к черту товарищи! Интеллигентка, дворяночка. Деликатности всякие. И идеология наносная. Непрочно все это у вас, не верю я вам.

Лелька крепко прикусила губу.

- И у Маркса с Энгельсом идеология была наносная? И у Ленина? Вот у Васеньки Царапкина зато не наносная.

- Эка ты куда! Маркс, Ленин! - Он усмехнулся, помолчал. - И с детьми тоже. Чтобы были с голубою дворянскою кровью. Не желаю.

В первый раз Лелька потеряла самообладание и крикнула озлобленно:

- Сам ты давно уже и свою пролетарскую кровь сделал голубою! Поглубее всякой дворянской!

Он не понял.

- Это как?

Она не ответила и быстро начала одеваться.

* * *

Трудно и нерадостно протекала Лелькина любовь. В глубине души она себя презирала. После того, что ей тогда ночью сказал Афонька, ей следовало с ним разорвать и уйти. Но не могла она этого сделать. Не могла первая расцезть отношения. Невозместимо дорог стал ей этот суровый человек. И со страхом она ждала, что вот-вот

он разорвет с нею.

Теперь никогда, прощаясь, он не сговаривался с нею о новой встрече. И каждый раз у нее было впечатление, что он уходит навсегда. Никогда уже больше он не звал ее к себе, и она не смела к нему прийти. А через неделю, через две он неожиданно приходил к ней, надменные губы кривились в улыбку. И с пронзающей душу болью Лелька догадывалась, что он просто не выдержал, – пришел, а в душе презирает себя за это.

Однажды она с горечью сказала ему:

– Ты приходишь ко мне, как к проститутке!

Ведерников не возмутился, не стал протестовать. Почесал за ухом.

– Черт тебя возьми, уж больно ты красивая девчонка. Издаля увидишь на заводе, – и опять потянет. Я уж и сам себя ругаю.

Лелька начала говорить, – хотела о чем-то с ним договориться, что-то выяснить, рассеять какие-то недоразумения. Ведерников, как всегда, ничего не возражал, надел пальто и, не дослушав, ушел.

* * *

Ехал товарищ Буераков на трамвае. Домой. Был выпивши. Но – в меру.

Против него сидела старая женщина. В шляпе и в пенсне. Когда пенсне у человека на носу, он всегда держит нос вверх, и вид у него получается нахальный.

Буераков смотрел, смотрел на старушку, буравил ее острыми глазками, наконец не выдержал. Ударил себя кулаком по затылку и сказал:

– Вот вы где все у меня сидите!

Старая дама с удивлением взглянула.

– Чего вам от меня надо?

– Чего надо! Не выношу вашего барского вида! Мы, рабочие, работаем, а вы нацепили пинсы на нос и поглядываете нахально!

Кондуктор сказал лениво:

– Что вы, гражданин, публику задираете?

У старой дамы глаза раздраженно выкатились, они стали очень большими.

– Я, может быть, больше вас работаю!

– Позво-ольте! Как вы можете меня оскорблять? Я рабочий, а вы говорите, что я ничего не работаю. Кондуктор!

Часть публики посмеивалась, другие возмущались. Товарищ Буераков наседавал на даму, стучал кулаком себе в грудь и кричал:

– Вы забываетесь! Не знаете, с кем говорите! Я – рабочий, понимаете вы это? А ты мне смеешь говорить, что я ничего не делаю! Интеллигенция паршивая!

Тут уж вся публика возмутилась. Пожилой рабочий в кепке крикнул на него:

– Ты что тут хулиганишь, старикашка поганый? Чего к гражданке пристал, она тебя трогает? Вот возьму тебя за шарманку и выкину из вагона.

– Выкини, попробуй! – огрызнулся Буераков. Но замолчал. Нож острый в сердце: пролетариат, свой брат, – и против пролетария!

В Богородском он сошел. Видит, эта же дама идет впереди. И куда ему идти, туда и она впереди. Тьфу! Свернула – в ихний дом. Стала подниматься по лестнице. У его двери остановилась, позвонила. Он смущенно подошел.

– Вам кого?

Она оглядела его, узнала. Раздраженно ответила:

– Вам какое дело?

– Как я хозяин этой квартиры.

– Елену Ратникову.

– А-а... – Буераков расплылся в улыбке. – Хорошая дивчина, выдержанная.

Лелька открыла дверь и крикнула:

– Мама! Вот я рада!

И увела к себе. Товарищ Буераков высоко поднял брови и почесал за ухом.

Лелька, правда, очень обрадовалась. Такая тоска была, так чувствовала она себя одинокой. Хотелось, чтобы кто-нибудь гладил рукой по волосам, а самой плакать слезами обиженного ребенка, всхлипывать, может быть, тереть глаза кулаками. Она усадила мать на диван, обняла за талию и крепко к ней прижалась. Глаза у матери стали маленькими и любовно засветились.

А через час уже разругались. Мать рассказала Лельке о столкновении с Буераковым в трамвае. Лелька скучливо повела плечами.

– Какой кляузный старикашка! Вздорный, глупый.

У матери стали большие, злые глаза, и она спросила:

- Ты видишь тут только личную дрянность? И не видишь, до какой развращенности доведен рабочий класс в целом, как воспитывается в нем совершенно дворянская психология? Он вполне убежден, что он совсем какой-то особенный человек, не такой, как все остальные... Гадость какая!

Проспорили с полчаса, расстались холодно. Мать, спускаясь по лестнице, плакала, а Лелька плакала, сидя у себя на диване.

* * *

Одиноко было и грустно в душе Лельки. Но это она знала: пусть больно, пусть душа разрывается, - кому может быть до этого дело в той напряженной работе, которая шла кругом? И Лелька ни с кем не делилась переживаниями. Зачем лезть к другим со своими упадочными, индивидуалистическими настроениями?

Она оживала душой, когда была на заводе. Если выпадало два праздника подряд, начинала скучать по заводу. Иногда в свободную смену добывала себе пропуск, бродила по цехам, наблюдая производство во всех подробностях, и - наслаждалась.

Наслаждалась она красотой завода. Наслаждалась так, как - раньше думала - можно наслаждаться только заходом солнца за речную далью или лунною ночью на опушке рощи. Большие залы, полные веселого стального грохота, длинные ряды электрических ламп в красивых матовых колпаках, быстро движущиеся фигуры девчат на конвейерах, красные, голубые и белые косынки, алые плакаты под потолком. Высоко вдоль стены, словно кольчатый дракон, непрерывно ползет транспортер. И атмосфера дружного труда, где всё - и люди и машины - сливается в один торжествующий гимн труду.

Лелька жадно смотрела и повторяла любимое двустишие из Гейне:

Здесь выплечешь ты все ничтожное горе,
Все мелкие муки твои!

И представлялось ей: какая красота настанет в будущем, когда не придется дрожать над каждым лишним расходом. Роскошные заводы-дворцы, залитые электрическим светом, огромные окна, скульптуры в нишах, развесистые пальмы по углам и струи бьющих под потолок фонтанов. Крепкие, красивые мужчины и женщины в ярких одеждах, влюбленные в свой труд так, как теперь влюблены только художники.

Лелька сидела на окне около выходной двери, смотрела и думала:

«Это верно, да! Конечно, одежды будут яркие. Блеклые, усталые тона платьев, годные для буржуазных гостиных, в этих огромных залах сменятся снова одеждами ярко-красочными, как одежды крестьян, дающие такие чудесные пятна на фоне зеленого луга или леса».

- Чего это ты не работаешь?

Перед нею стоял Юрка и удивленно смотрел на нее.

- Я в дневной смене работала. А сейчас просто пришла. Полюбоваться, Люблю наш завод. Думала я... Сядь!

Она ласково потянула Юрку за руку и заставила сесть рядом на окно.

- Думала, какую мы разведем красоту на заводах, когда осуществим все пятилетки.

Делилась тем, о чем сейчас думала, глядела в робко-любящие глаза Юрки. И вдруг опять почувствовала, как она одинока и как сумасшедше хочется теплой, ровной, не высокомерной ласки. Спросила:

- Ну, а как ты живешь?

- Да! Ведь я тебе не говорил: записываюсь в Особую Дальневосточную армию добровольцем. Охота подраться с китайцами. Спирька уже записался.

Лелька поглядела ему в глаза. Помолчала. И вдруг решительно сказала:

- Юрка! Не записывайся. Позовут - иди. А тут у тебя работа серьезная, нисколько не меньше, чем с китайцами воевать. Эх, ты! - И, как в прежние времена, взерошила ему волосы. - Все ты о буденновской кавалерии мечтаешь! Когда поймешь, что у нас тут, на производстве, бои еще более трудные, еще более нужные?

А про себя подумала:

«Кроме же того, мне без тебя будет здесь очень одиноко. М-и-л-ы-й Ю-р-к-а!»

Он встал и сказал извиняющимся голосом:

- Нужно идти на работу.

- Я тебя провожу.

Взяла его за руку, и вместе пошли по направлению к вальцовке.

- Отчего, Юрка, никогда не зайдешь ко мне?

Он смешался, поглядел в сторону.

- Я думал...

Лелька с усмешкой пристально поглядела ему в глаза, взяла под руку и прижалась к его локтю.

- Что бы там ни было, это дело не твое. наших с тобою отношений это нисколько не меняет. Все остается по-старому.

Юрка разинул рот от удивления.

- Приходи сегодня после работы. Поужинаешь у меня.

Он быстро ответил:

- Приду.

- Ну, пока! - Ласкающе пожала концы его пальцев и пошла из вальцовки.

Юрка остановился перед своею машиною и долго смотрел на ее блестящие валы.

* * *

Уже полгода по заводу шла партийная чистка. В присутствии присланной комиссии все партийцы один за другим выступали перед собранием рабочих и служащих, рассказывали свою биографию, отвечали на задаваемые вопросы. Вскрывалась вся их жизнь и деятельность, иногда вопросами и сообщениями бесцеремонно влезали даже в интимную их жизнь, до которой никому не должно было быть дела.

Галошный цех, самый многолюдный на заводе, чистили в зрительном зале клуба. Председательствовала товарищ, чуть седая, с умными глазами и приятным лицом; на стриженных волосах по маленькой гребенке над каждым ухом. Когда в зале шумели, она беспомощно стучала карандашиком по графину и говорила, напрягая слабый голос:

- Товарищи, давайте условимся: будем потише.

Лелька быстро прошла чистку, - так неожиданно быстро, что у нее даже получилось некоторое разочарование, как на экзамене у хорошо подготовившегося ученика. Никаких грехов за нею не нашлось; и о производственной, и о партийной работе все отзывы были самые хорошие.

Быстро прошла и Ногаева. Выступила она, - грузная, толстошея, с выпученными глазами, - и, как всегда, видом своим вызвала к себе враждебное отношение. Заговорила ровно-уверенным, из глубины души идущим голосом, - и, тоже как всегда, лица присутствующих стали внимательными и благорасположенными. Она рассказала, как работала на фронте гражданской войны, рассказала про свою общественную работу.

- Будут вопросы?

Поднялась старая работница Буеракова и сказала с восторженностью:

- Какие там вопросы! Такая коммунистка, что просто замечательно. Сколько просветила темных людей! Я и сама темная была, как двенадцать часов осенью. А она мне раскрыла глаза, сагитировала, как помогать нашему государству. Другие, бывают, в партию идут, чтобы пролезть, в глазах у них только одно выдвигание. А она вроде Ленина. Все так хорошо объясняет, - все поймешь: и о рабочей власти, и о религии.

Хлопали. Конечно, прошла.

А с Матюхиной в конце вышла маленькая заминка. Вызвали. Взошла на трибуну, - курносая, со старушечьим лицом, в красной косынке. Начала, волнуясь:

- Я родилась в семье крестьянина, конечно, в Воронежской губернии... И родители мои, конечно, были бедные...

Потом овладела собой, хорошо рассказала, как ее деревню разорили белые, как пришлось ей скитаться, как голодала. Работала на торфоразработках, потом на кирпичном заводе. Там поступила в партию.

Посыпались наперебой любовные, милые характеристики.

- Все ее знают, что там! Работает, - прямо не налюбуйешься, как работает.

- Такие кабы все мастерицы были, мы бы в три года пятилетку сделали.

- И к нам, работницам, имеет самый хороший подход.

Один из членов комиссии спросил:

- А как у вас с партучебой?

- Учусь. Хожу в партшколу первой ступени. Только ничего не понимаю.

Хохот. А она прибавила очень серьезно:

- Что ж поделаешь!

Председательница сказала, улыбаясь:

- Все-таки постарайтесь, товарищ Матюхина, понять. Вы хорошая производственница, это по всему видно, но партиец должен понимать и политическую

сторону дела, для этого нужно учиться.

- Постараюсь.

Вдруг женский голос из публики спросил:

- А как у вас насчет политики в деревне? Не отказались вы от таких взглядов, какие мне два дня назад высказывали? Она мне говорила, что в деревне притесняют не только кулаков, но и середняков, что всех мужиков разорили. Говорили вы это?

- Да, говорила, потому что это правда.

Председательница насторожилась и с глазами, вдруг ставшими враждебно-недоверчивыми, спросила:

- Вы там были, сами все это видели?

- Была, видела. Мой брат в деревне. У мужика всего 130 пудов хлеба, а наложили 120 пудов. Подушки продают, самовары.

- Отчего же вы об этом не заявили? Злоупотребления всегда возможны.

- Заявляла.

Из зала раздались взволнованные голоса:

- Везде так!

Председательница посмотрела сурово. Она спросила Матюхину:

- Понимаете вы политику партии в деревне? Кто прячет хлеб?

- Кулаки.

- А кто нам помогает?

- Бедняки.

- А еще кто?

- А еще... с-середняки...

- Вот, товарищ Матюхина. Насчет политики вам очень нужно подтянуться. У вас, видно, путаные понятия о классовой политике партии в деревне. Раз вы связаны с деревней, вам на этот счет особенно нужно иметь взгляды самые четкие.

Матюхина вздохнула и покорно ответила:

- Поучусь еще. Может, пойму как надо.

Пришла очередь Баси. Все другие рассказывали о голодном детстве, о горемычном житье. Бася начала так:

- Моя биография не совсем такая, какие вы до сих пор слушали. Я в детстве жила в холе и в тепле. Родилась я в семье тех, кто сосал кровь из рабочих и жил в роскоши; щелкали на счетах, подсчитывали свои доходы и это называли работой. Такая жизнь была мне противна, я пятнадцати лет ушла из дома и совершенно порвала с родителями...

Когда кончила, кто-то спросил враждебно:

- Почему вы пошли в работницы?

- Хотела быть с рабочим классом не только в мыслях, но и на деле.

Раздались дружные голоса:

- Хорошая партийка, что говорить! Все ее знают довольно. Даром, что корни буржуйские.

- Таких товарищей побольше бы, особенно из женского персонала.

- Человек на язык очень даже развитой. Когда бывают собрания, всегда выступает и говорит разные слова. Вбивает в голову нам, темным людям.

Все шло очень хорошо. Вдруг поднялась Лелька. Она была очень бледна.

- Скажи, товарищ Броннер. Тут на заводе работал одно время в закройной передов твой родной брат Арон Броннер. Он со своими родителями-торговцами не порвал, как ты, жил на их иждивении. Ты его рекомендовала в комсомол. И сама же ты мне тогда говорила, что этот твой брат - пятно на твоей революционной совести, что он - совершенно чуждый элемент. Ты его помимо биржи устроила на завод, пыталась проташить в комсомол, - и все это только с тою целью, чтоб ему попасть в вуз.

Бася остолбенела. Страшно бледная, она неподвижно глядела на Лельку. Глаза Лельки были ясны и уверенны.

- Будешь ли ты отрицать, что говорила мне это?

Бася оправилась от неожиданности, помолчала и медленно ответила, опустив глаза:

- Да. Все это так и было. Этого не отрицаю, и в этом я виновата.

Вышел на трибуну Ведерников.

- Товарищ Ратникова правильно все рассказала и поступила по-большевицки, что не скрыла ничего от партии, что ей сообщила Броннер. Я еще вот на что хочу заострить ваше внимание: этот самый Арон Броннер цинично сам сознался, что поступил на завод и в комсомол для, так сказать, той цели, чтобы пролезть в вуз. И когда мы его ударили по рукам, и он, понимаешь, увидел, что дело с вузом у него не пройдет, он сейчас же смылся с нашего завода... Бася Броннер - товарищ хороший, выдержанная партийка. Мы можем

свободно терпеть ее в своей среде и, конечно, исключать из партии не будем. Но за такое дело, какое она пыталась сделать для братца своего, ей надобно здорово, по-большевицки, накрутить хвост. Чтоб и другим было неповадно.

* * *

«Беременна»...

Да, врач сказала совершенно определенно. А Лелька все старалась себя обмануть, говорила себе, что это, наверное, так, не от беременности, а от случайной какой-нибудь причины...

Ну? Что же дальше?

Ведерникову она ничего даже и не сообщит, - после того, что он ей тогда сказал. А об Юрке, как об отце, не хотела и думать. Но кто отец, она и сама наверное не могла бы сказать. И глупо, совсем ни к чему, в душе пело удивленно-смеющееся слово «мать».

Сидела на подоконнике в своей комнате, охватив колени руками. Сумерки сходили тихие. В голубой мгле загорались огоньки фонарей. Огромное одиночество охватило Лельку. Хотелось, чтобы рядом был человек, мягко обнял ее за плечи, положил бы ладонь на ее живот и радостно шепнул бы: «Н-а-ш ребенок!» И они сидели бы так, обнявшись, и вместе смотрели бы в синие зимние сумерки, и в душе ее победительно пело бы это странное, сладкое слово «мать»!

Сидела она так на окне, охватив ноги руками, и слезы тихо капали на колени.

* * *

Ну что ж? Выход был горек и ясен.

Ордер в консультации она, как работница, получила легко.

- Какие причины?

- «Одиночка»: отсутствие отца.

* * *

Через десять дней Лелька снова вышла на работу. Только лицо было подурневшее, цвета намокшей штукатурки.

Часть третья

Заводской партком объявил мобилизацию рабочих в подшефный заводу район на колхозную кампанию. Образовалось несколько бригад. Откликнулись на призыв Лелька, Ведерников, Юрка. Оська Головастов поместил в заводской газете такое письмо:

Учитывая важность коллективизации сельского хозяйства для осуществления пятилетнего плана и для окончательного торжества социализма в нашем Союзе, а потому приказываю считать меня мобилизованным и отправить меня на пропаганду колхозную строительства в деревни подшефного района.

Устроены были при заводе двухнедельные курсы для отправляемых на колхозную работу, и в середине января бригада выехала в город Черногряжск, Пожарского округа^[19]. Ехало человек тридцать. Больше все была молодежь, – партийцы и комсомольцы, – но были и пожилые. В вагоне почти всю ночь не спали, пели и бузили. Весело было.

Утром, с заплечными мешками на плечах, шли по широким улицам уездного города Черногряжска в РИК^[20]. Приземистые домики, длинные заборы и очень много церквей, – впрочем, частью уже обезглавленных.

Улицы были пустынные. Только у лавок Центроспирта стояли длинные очереди. И странно, почти не было в городской одежде, – стояли все бородатые мужики, в полушубках, многие в лаптях.

Юрка сказал, блеснув улыбкой:

– Чтой-то, товарищи, скучно как-то глядеть: одни деревенские. Ай тут городские водочкой не занимаются?

Длинный мужик с невьющейся бородой ответил угрюмо:

– Им-то с чего заниматься?

Другой добродушно крикнул:

– Добро свое, гражданин, пропиваем! Все одно, пропадать ему!

– С чего пропадать?

– Отберут. В колхозы гонят.

Ведерников вскипел:

– «Гонят»! А что же сами вы, – не понимаете, что в колхозах выгоднее?

– Может, милый человек, кому и выгоднее, не знаю того. А нам выгоды нету.

– Как же – нету? Дружно, сообща землю обрабатывать, – ужли же не выгоднее, чем каждому на своей полоске околачиваться?

– А станешь сообща так работать, как на себя? Может, у вас где такие есть люди, а у нас таких не бывает.

Взволнованно вмешался третий:

– Коли лошадь моя, я за ней вот как смотрю! Сам не доем, а уж она у меня сытая будет всегда. А в колхозе видал, какие лошади? Со стороны поглядеть, и то плакать хочется: одры! Гонять лошадей все мастера, а кормить никто не хочет.

На широкой площади, с шеренгой ларьков у собора, кипел базар. Но, собственно, не базар это был, а сплошная мясная лавка. Площадь краснела горами мяса, – говядиной, свиной, бараниной. Никогда ребята не видели столько мяса, и чтоб оно было так дешево.

На облучке саней сидел подвыпивший мужик. Из саней торчали красные обрубки ног трех овечьих туш и одной свиной. Мужик, смеясь, рассказывал:

– Все прикончил, теперь – ч-чисто! Можно в колхоз иттить!

Городская женщина сказала.

– Жалко, чай, резать было?

Мужик перестал смеяться и отер вдруг намокшие глаза.

– Милая! Как же не жалко? Ведь сам всех выходил. Любовался на них, как на красное солнышко. А ныне вот – что продаю, что сами приели. Никогда столько мужик убойны не жрал, как сейчас. Плачем, милая, – плачем, давимся, а едим! Не пропадать же добру!

Шли ребята к РИКу призадумавшись. Глаза Ведерникова мрачно горели.

В РИКе присутствовали на заседании районного штаба по коллективизации, там получили назначения и директивы. Завтра утром должны были выехать на место работы.

Ночлег им отвели в районном Доме крестьянина. После ужина пили в столовой чай из жестяных кружек. Настроение было серьезное и задумчивое, не то, что вчера в вагоне. С ними сидел местный активист Бутыркин, худощавый человек с энергичным, загорелым лицом.

- Да, - он говорил, - добром с нашим крестьянством до многого не добьешься. Все народ состоятельный, плотники да землекопы, денег на стороне зарабатывали много. Про колхозы и слушать не хотят. Говорят: на кой они нам? Нам и без них хорошо, не жалуемся.

- Так как же вы?

- Поднажимать приходится маленько.

Ведерников решительно сказал:

- Правильно!.. Ах, н-негодяи! - Он взволнованно заходил вдоль стола, глубоко засунув руки в карманы. - В колхоз идти, а раньше того, понимать, всю скотину свою порежут! А рабочие в городах сидят без мяса, без жиров, без молока! Расстрелять их мало! Всему государству какой делают подрыв!

Юрка почесал в затылке, улыбнулся.

- Д-да-а... Тут, видно, работа позаковыристей будет, чем даже у нас на заводе ударяться!

Утром ребята по путевкам, полученным в исполкоме, разъехались по назначенным деревням.

* * *

Работа закипела. Собирали местных партийцев и комсомольцев, беседовали с ними и сговаривались, организовывали бедноту. Проводили собрания, страстно говорили о выгоды коллективизации, о нелепости обработки жалких полосок в одиночку. И сами опьянялись грандиозными картинками, которые рисовали перед слушателями: необозримые поля без меж, незасоренные посевы, гудение тракторов и комбайнов, дружная работа всех на всех, элеваторы, засыпанные тысячами центнеров зерна. Но весь пыл гас, когда взгляд упал на слушателей: чуждые, холодные лица и насмешливые глаза.

А потом выступали мужики. Говорить уже все научились, и говорили прекрасно.

- А машины вы нам дадите, - эти самые тракторы и... там еще какие?

- Со временем и машины будут.

- Со вре-ме-нем... Вот ты тогда со временем колхоз и строй!

- Товарищи! Да ведь и без машин... Вы подумайте только: чем каждому на своей полоске, то ли дело - все люди, все лошади дружно будут убирать общие поля!

- Дру-ужно!.. Кто это у тебя там дружно будет работать? Кому до этого дело?

Заговорил крепкий старик; на лице его было три цвета: снежно-белый - от бороды и волос, розовый - от щек и ярко-голубой - от глаз. Он сказал:

- Как это, гражданин, - дружно? Будут работать, как в старое время барщину на господ работали. Да у вас еще, небось, восемь часов работа? По декретам? А коли пашня моя, я об декретах не думаю, я на ней с темна до темна работаю, за землю своею смотрю, как за глазом! Потому она у меня колосом играет!

По всему собранию загудело:

- Правильно!

- А стану я у вас в колхозе так работать? Я буду стараться, а рядом другой зевать будет да задницу чесать? Как я его заставлю? А что наработаем, на всех делить будете. Нет, гражданин, не пойду к вам. Я люблю работать, не люблю сложа руки сидеть. Потому у меня и много всего.

Ведерников сурово слушал.

- Потому у тебя много, что ты кулак!..

Старик ударил ладонью по столу.

- Нет, я не кулак, я труждающий! Чужой труд никогда не имел! Что есть, все руками вот этими добыл, - я да два сына. Никогда не имел никаких работников, да и ну их к черту, лодырей этих!

В собрании засмеялись.

* * *

Ведерников, Лелька и Юрка работали в большом селе Одинцовке. Широкая улица упиралась в два высокие кирпичные столба с колонками, меж них когда-то были ворота. За столбами широкий двор и просторный барский дом, - раньше господ Одинцовых. Мебель из дома мужики давно уже разобрали по своим дворам, дом не знали к чему приспособить, и он стоял пустой; но его на случай оберегали, окна были заботливо забиты досками. В антресолях этого дома поселились наши ребята.

Деревня была крепкая, состоятельная. Большинство о колхозе и слушать не хотело. Из 230 дворов записалось двадцать два, и все эти дворы были такие, что сами ничего не могли внести в дело, – лошадей не было, инвентарь малогодный. Прельщало их, что колхозу отводили лучшие луга, отбирали у единоличников и передавали колхозу самые унавоженные поля.

Ребята были мрачны. Лелька печально смотрела из окна антресолей на широкую деревенскую улицу, занесенную снегом, – такую пустынную, такую неподвижную. Вспомнила милый, кипящий жизнью завод свой. Сказала:

– А там, во глубине России, –
Там вековая тишина.

Как эту тишину прошибить, чем всколыхнуть? Ведерников уверенно ответил:

– Прошибем!

До поздней ночи горел огонь в окнах сельсовета. Шло горячее совещание ребят с местным активом и беднотой.

* * *

Трехцветный старик (белая борода – розовые щеки – голубые глаза) выбрасывал из лошадиных стойл навоз, когда скрипнула калитка и во двор стали входить приезжие ораторы – Ведерников, Лелька, Юрка и за ними – несколько мужиков-колхозников ихней деревни.

Старик спросил:

– Что надо?

Не отвечая, прошли в избу. Старик обеспокоенно двинулся следом. На лавке сидели два его сына, такие же голубоглазые. Вздвигнутые бабы стояли у печи.

Пришедшие как будто не видели хозяев, не отвечали на их вопросы и разговаривали только между собою. Юрка сказал Ведерникову.

– Вот домик ладный! Как раз подойдет под ясли и детдом.

Оглядели избу, оглядели клетки, чуланы и амбары. Ведерников отрывисто сказал:

– Дайте ключи от сундуков и чуланов.

– На что вам? Позвольте, товарищ, узнать, в чем дело.

– Все ваше имущество мы реквизируем. Вы кулак и подлежите выселению.

Старик оторопел.

– Выселению?..

Раздался взрыв бабьих рыданий.

– Ба-атюшки! Да что же это?

Мужики стояли бледные.

Зияли раскрытые сундуки, зияли чернотой распахнутые двери клеток и кладовушек. На лавках и на чистом, строганом полу грудой лежали овчины, холсты, новые сапоги, мужская и женская одежда.

Местный пастух, в очень грязных, разбитых лаптях, выкладывал из сундука вещи, изумлялся и встряхивал волосами.

– Ну и добра-а! И откедова столько раздобыли!

Старик подошел к Ведерникову.

– Позвольте вам, товарищ, объяснить. Кулак, говорите. Не знаю, как по-новому сказать, а по-старому: вот вам святая икона, – никогда за жизнь свою не имел чужого труда, все с сынами своими горбом заработал.

Мужик в клочковатом полушубке сказал извиняющимся голосом:

– Василий Архипыч, а ведь торговлишкой-то ты занимался!

– Игде?

– Игде! А не бывало так, что по всей деревне холсты закупишь да вместе со своими повезешь в город продавать?

– Нукштож!

– Вот те и «нукштож»! – сурово сказал пастух. – Называется: нетрудовой доход.

Как на пожаре, переливался заунывный бабий вой, похожий на завывание осеннего ветра в трубе. Плакали ребята. Вдруг старуха вцепилась в рукав Ведерникова и закричала:

– Да вы что же это делаете, а? Ведь это же дневной разбой!

Дверь открылась, вошел местный учитель, – невысокий человек с маленьким носиком. Удивленно остановился, попятился. Старуха увидела его и завопила:

- Караул!!

Учитель поспешно скрылся. Старуха иступленно бросилась к Лельке.

- И ты тоже! Они от Христа отреклись, злодеи, а ты - молодая девчонка, и тоже лезешь в эту грязь! Не стыдно тебе разбой этот делать?

Старуха, рыдая, упала на лавку. Лелька с строгим лицом связывала в узлы отобранные вещи.

Юрка и пастух запрягали в сани на дворе хозяйских лошадей. Пастух восхищался:

- Ах, и лошадки же хороши!

Глядел им в зубы, щупал в пахах. Юрка спросил:

- В колхозе у вас пригодятся?

- Как не пригодится! На этих, друг, лошадях пахать - все одно, что трактор твой.

Старик в избе спросил Ведерникова:

- Что же вы нам оставите?

- А вот что на вас надето. Будет с вас и этого.

Два широкоплечих, голубоглазых сына старика стояли у стены и с такою смотрели ненавистью, что было жутко. Юрка, пастух и мужик в рваном полушубке стали выносить вещи.

На лавке сидел и всхлипывал пятилетний мальчишка, такой же ярко-голубоглазый, как все мужчины. На ногах его были новые, еще не разношенные серо-белые валенки с красными узорами на голенищах. Ведерников оглядел их и спросил:

- Башмаки есть у тебя, мальчик?

Он робко взглянул.

- Есть.

Взял с подоконника и поспешно протянул Ведерникову. Ведерников сказал Лельке:

- Пусть переобуется. А валенки пойдут в детдом, бедняцким детям.

Лелька ласково взяла мальчика за плечо.

- Ну-ка, мальчик, скидай валенки. Вот у тебя башмаки какие хорошие! Довольно с тебя.

Мальчик покорно снял валенки и стоял босиком. Лелька сказала:

- Не надо босым стоять, простудишься. Надень башмаки.

Старуха сорвалась с лавки, вышибла поленом стекло в окне, высунулась и стала кричать на всю улицу:

- Караул! Карау-у-ул!

Ведерников строго сказал:

- Будет, старуха, не бузи!

Юрка, наморщившись, совал валенки в холщовый мешок, где уже много было валенок и сапогов.

Ведерников вышел на двор поглядеть, как укладывали вещи. К нему подошел старик.

- Товарищ, примите заявление: желаю с сынами моими идти в колхоз.

Ведерников оглядел его, усмехнулся.

- Тебя - в колхоз? Да ты на весь колхоз заразупустишь, весь его изнутри развалишь. Нет, старичок божий, мы богатеет в колхозы не принимаем. Лучше отправляйся кой-куда комаров покормить.

Старик спросил упавшим голосом:

- Вы что же, отправлять нас куда будете?

- Да уж тут, папаша, не оставим, будь покоен: очень от тебя большой вред идет на всю деревню.

Сани, доверху полные добром, выезжали со двора. По улице отовсюду тянулись груженные подводы, комсомольцы правили к церкви. На широкой площадке над рекою стояла церковь со снятыми колоколами и сбитыми крестами. Она была превращена в склад для конфискованных у кулаков вещей.

В воздухе было мягко, снег чуть таял. Юрка сидел на облучке груженых саней. Торчал из сена оранжевый угол сундука, обитого жестью, самовар блестел, звенели противни и чугуны. Юрка глубоко задумался. Вдруг услышал сбоку:

- Дяденька!

Поглядел: рядом с санями, босиком по талому снегу, бежал голубоглазый мальчишка.

- Дяденька! Отдай валенки!

Юрка отвернулся, закусил губу и хлестнул вожжю лошадь. Мальчик не отставал. Вязнул ногами в талом снегу, останавливался в раздумьи и опять бежал следом, и повторял, плача:

- Дяденька! Отдай валенки!

Организовали весь комсомол окрестных деревень. Комсомольские бригады спланировали бедняков, обобществляли весь рабочий и продуктовый скот. Работали день и ночь. Из района и округа то и дело приходили настойчивые приказы: «Нажимай на сплошную», то есть на сплошную коллективизацию.

И нажимали. Раскулачивали состоятельных, сулили всяких бед середнякам и беднякам, которые отказывались идти в колхозы. На собраниях мужики вызывающе спрашивали:

- Да что же, конец концов: добровольно в ваши колхозы полагается идти или нет? Коли нет, то покажите, где такой декрет, чтобы всех нас гнать в колхоз?

Ведерников отвечал:

- Декрета нет, в колхозы идут добровольно. А вы мне только вот что скажите: вы - против советской власти?

- С чего нам быть против?

- А тогда что ж: мы, понимаешь, вас зовем в колхозы не из своей головы, вас зовет советская власть и партия Векапе. Коли не идете, значит, вы против советской власти. Ну, а уж этому не дивитесь: кто против советской власти, тех она лишает голоса.

Уныние и угрюмость повисли над деревнями. Походка у мужиков стала особенная: ходили, волоча ноги, с опущенными вперед плечами и понурыми головами. Часами неподвижно сидели и тяжело о чем-то думали. И каждый день новые приходили записываться в колхоз. А перед тем резали весь свой скот.

Резали поросных свиней, тельных коров. Резали телят на чердаках, чтоб никто не подглядел, голосистых свиней кололи в чаще леса и там палили. И ели. Пили водку и ели. В тихие дни над каждой деревней стоял густой, вкусный запах жареной убоины. Бабы за полцены продавали в городе холсты.

- Чего нам свое в колхоз нести? Там всё обязаны дать.

Комсомолия, руководимая Ведерниковым и Лелькой, рыскала по деревням, расспрашивала бедноту, накрывала крестьян с свежееубитым скотом, арестовывала и отправляла в город. Ведерников кипел от бешенства.

- Ах, мерзавцы! И этак, понимаешь, по всему Союзу!

И Лелька откликнулась:

- В два-три месяца наделали то, чего потом годами не поправишь. Ведь весь скот поведут! Ни молока не будет, ни мяса, ни шерсти... Расстрела для них мало!

И страстно, увлекательно, как только она умела говорить, Лелька говорила и на собраниях, и в частных беседах с крестьянами. Мужики слушали, пряча в бородах насмешливые улыбки, и отвечали цинично:

- А нам об этом какая забота? Что ж мы, супротив самих себя будем идти? Все одно, в колхоз отнимете. Лучше же мы получим для себя удовольствие.

Совместная работа в деревне сильно сблизила Лельку с Ведерниковым. Теперь они были настоящие друзья и открыто жили, как муж и жена, спали в одной комнате. Лелька упоенно наслаждалась товарищескою близостью с Ведерниковым, согласностью их настроений. Получалось то гармоническое и прекрасное, о чем она раньше не смела и мечтать. В одно сильное, действенное целое сливались стальная воля, беспощадность, классовое чутье Ведерникова - и ораторский талант, организаторские способности, задушевная непосредственность, женское обаяние Лельки. Весь актив они сумели спаять в крепкую, дисциплинированную массу, и ребята одушевленно бросались в работу по одному указанию своих вождей.

Только Юрка не совсем подходил к общей компании. Что с ним такое случилось? Работал вместе со всеми с полной добросовестностью, но никто уже больше не видел сверкающей его улыбки. По вечерам, после работы, когда ребята пили чай, смеялись и бузили, Юрка долго сидел задумавшись, ничего не слыша. Иногда пробовал возражать Ведерникову. Раз Ведерников послал ребят в соседнюю деревню раскулачить крестьянина, сына кулака. Юрка поехал, увидел его хозяйство и не стал раскулачивать. Сказал Ведерникову:

- Он середняк самый форменный, да еще маломощный. А от отца уж пять лет назад отделился.

Ведерников в ответ отрезал:

- Плохое у тебя, Юрий, классовое сознание. Нужно не только, понимаешь, корни

вырывать, а и веточки сшибать.

- Да ведь свой брат, тот же рабочий.

- Рабо-очий! Какой такой рабочий?

И послал других. Как-то раскулачили они самого рядового середняка. Юрка опять встал за него, но Ведерников зажал ему рот одной фразой:

- Ну, пусть середняк! А чего в колхоз не идет?

Юрка несколько раз пробовал поговорить с Лелькой, поведать ей свои сомнения. Но Лелька была теперь как будто другая, - прямолинейная и беспощадная, не хуже Ведерникова. Она в ответ нетерпеливо пожимала плечом и говорила с пренебрежением:

- Совсем у тебя, Юрка, искривляется классовое самосознание. Какое-то интеллигентское гуманничанье. Откуда это у тебя? Брось! Партия знает, что делает. Ты знаешь ее лозунг о полном выкорчевывании в деревне всякого капитализма? Ну и не миндальничай. А ты готов отстаивать каждого кулачка и проливать над ним гуманные слезы. В правый, брат, уклонец вдарешься.

* * *

На хороших лошадах, в щегольских санках, приехал Оська Головастов с товарищем Бутыркиным, местным активистом в районном масштабе. Пили чай, обменивались впечатлениями от работы в своих районах. У Оськи по губам бегала хитрая, скрытно торжествующая улыбка. Он спросил:

- На коллективизацию гнете? А мы вот с товарищем Бутыркиным немножко собираемся пошире размахнуться. Коммуну учреждаем в нашем селе.

- Это здорово!

- Приехали просить вас подсобить.

- Всем, чем хотите.

Ведерников положил руку на плечо Лельки.

- Этого оратора вам дадим: замечательнейший, понимаешь, оратор.

Лелька радостно вспыхнула. Оська слушал невнимательно, с блуждающими глазами. Потом улыбнулся замысловато.

- Это ладно. А главное - вот нам что. Завтра окончательное у нас собрание о переходе всего села в коммуну. Боимся, как бы не засыпаться с голосованием, есть кой-кто против. Приезжайте на собрание всем активом, голосните.

Расхохотались.

- Здорово! Нам тоже голосовать? Ну что ж! Мы все за коммуну. Определенно.

* * *

Собрание было в здании сельсовета. Председательствовал товарищ Бутыркин, бритый, с сухим, энергичным лицом. Лелька говорила задушевно и сильно. Каштановые кудри выбивались из-под красной косынки, глаза на красивом лице блестели. Говорила о нелепости раздробленного хозяйствования, о выгодах коллективной жизни.

- Вы только подумайте: в вашем селе Сосновке четыреста дворов. И в каждом дворе каждый день топят печь, чтоб сварить горшок щей и чугунок картошки. Каждый себе отдельно печет хлеб. Каждый отдельно нянчит ребят. Каждый отдельно ухаживает за коровой, лошадей. Сколько на все без всякого толку тратится сил, времени, средств!

Слушали настороженно, с ненавидящими глазами. Передние ряды были заняты одними бабами, мужики держались назади. Кончила доклад Лелька. Говорил - напыщенно и угрожающе - Оська. Председатель Бутыркин спросил:

- Не будет ли вопросов?

Посыпались от баб вопросы самые неожиданные:

- Правда ли, что бога нет?

- Откуда земля?

- Правда ли, что люди пошли от обезьяны?

- Что такое «эпоха»?

Бутыркин грозно поднялся.

- Гражданки! Старую песенку завели! Нас больше на ваш крючок не поймаете. Это на советском языке называется саботаж: только чтоб затянуть и сорвать собрание. Но я этого не допущу. Говорите ясно и коротко. Об деле. Только об деле говорите!

Поднялся сзади худощавый молодой крестьянин.

- Дай-ко мне сказать. Об деле скажу.

- Евстрат Метелкин. Говори, - неохотно сказал председатель.

Метелкин заговорил резким, властным голосом, приковывающим к себе внимание.

- Вот, гражданка, говоришь: общий скотный двор. Ладно. А где на него взять гвоздей?

- Гвоздей?..

Лелька беспомощно оглянулась на Оську. Оська ответил:

- Пovyдергайте гвозди из какого-нибудь сарая. На что вам теперь индивидуальные сараи?

- Ну, два фунта понадергали!

- Да не из одного сарая.

- Та-ак! Чтоб один новый сарай сбить, хочешь двадцать старых развалить из-за гвоздей! Это называется строительство?

Поднялся председатель.

- Граждане! Так нельзя! Вопрос идет во всесоюзном масштабе, - понимаете вы это? А вы о каких-то гвоздях. Об деле говорите. По существу.

Стали один за другим подниматься крестьяне, говорили обычное: что никто на всех не станет работать, как на себя, что заварят дело - и сейчас же пойдут склоки, неполадки, бабы меж собой разругаются, и все подобное.

Вышел к переднему краю стола президиума Оська Головастов.

- Граждане! Долго будет тут эта болтовня? Объясняют вам, - вопрос стоит во всесоюзном масштабе, вопрос стоит о социалистическом строительстве. Поняли вы это дело? И власть вам тут не уступит, она вас заставит поступить по-нужному. Поэтому предлагаю вам голосовать добровольно. А кто хочет идти против, на того есть Соловки, есть Нарым, а может, кое-что и еще посолнее. Это имейте в виду!

Сдержанное гудение покатило по рядам. Высокий мужик в меховом треухе снял со стены лампочку и потушил. Два дюжих парня быстро направились боковым проходом к столу президиума. Вдруг всех охватила жуть. Оська шепнул:

- Идут лампы тушить. Ребята! У кого револьверы, вынимай!

Все были бледны. Уж несколько случаев было в окрестных местах: мужики на собраниях тушили лампы и люто избивали приезжих ораторов. Ведерников встал и, держа руку на револьвере, смотрел в глаза подошедшим парням. Те остановились.

Оська говорил, вода перед собою поднятою вертикально ладонью:

- Граждане! Успокойтесь! Все эти ваши штучки мы знаем, и ламп тушить не допустим. Вопрос исчерпан. Бутыркин, голосуй!

- Граждане! Прошу потише! - заявил председатель. - Голосую. Кто за переход села Сосновки в поголовную коммуну, того прошу поднять руки. Кто против? Кто воздержался? Большинством голосов принято постановление о переходе вашего села в коммуну.

Рев поднялся в сборной:

- Кто такие тут голосовали? Кого вы сюда понагнали? Мы этих граждан даже не видали никогда! Еще раз голосуй, по списку!

Бутыркин грозно объявил:

- Граждане! Вопрос исчерпан! Заседание объявляю закрытым.

* * *

С утра партийно-комсомольский актив Сосновки с бедняцкою частью села стал обходить дворы и обобществлять скот. Забирали всю живность: лошадей, коров, овец, свиней, забирали кур и гусей. Бабы выли, мужики были бледны от бешенства. Отобрать - ребята отобрали, но что делать с отобранным скотом, не знали. Был на краю деревни огороженный жердями летний загон. Поместили туда. Три дня скотина стояла под открытым небом, заметаемая поднявшеюся вьюгою. Спросить было не у кого: Оська, дав общие директивы, ускакал. Перед отъездом он арестовал и отправил в город, как контрреволюционера, Евстрата Метелкина, отказавшегося войти в коммуну, имущество его конфисковал и передал в коммуну.

Дела у Оськи Головастова было по горло. Пьяный от власти и от взятого размаха, он носился по району, арестовывал, раскулачивал, разогнал базар в селе Дарьине, ставил ультиматумы членам сельсовета, не вступившим в колхозы, закрывал церкви, священников арестовывал, их семьи выгонял на улицу и запрещал давать им приют. Двум священникам обстриг волосы и бороды. По лицу Оськи порхала странная, блуждающая усмешка, в глазах иногда мелькало безумие. Больше всего, больше достатка, больше славы и почета ему буйным хмелем кружило голову наслаждение власти над людьми: униженные поклоны и мольбы, бессильная ненависть мужчин, женские рыдания, отчаяние. И сознавать, что все это - от него, что захочет - и ничего этого не будет. И

особенно приятно было именно думать: «А я этого н-е з-а-х-о-ч-у! Унижайтесь. Унижайтесь задаром!»

* * *

Лельку раз нагнала на улице толпа ребятишек, – возвращались из школы. Она с ними разговорилась. Вдруг одна бойкая девчонка сказала (видно, что повторяла слова взрослых):

– Мы скоро все к вам придем, господский ваш дом разнесем по бревнышкам, вам глаза повыколем, а сами побросаемся в колодцы.

А другой раз Лелька еще более сильное получила впечатление. Возвращалась она из города, – давала в райкоме отчет о проведенной работе и достижениях. Со станции наняла мужика, поехала в санях. Мужик не знал, кто она, и говорил откровенно. И говорил так:

– Мы теперь узнали рабочий класс, какой он есть эксплуататор. Что эти рабочие бригады у нас в деревне разделяют!.. Мужик разутый-раздетый, а они в драповых польтах, в сапогах новых, морды жирные, жалованья получают по полтора ста рублей. Себя не раскулачивают, а мужика увидят в крепких сапогах: «Стой! Кулак!» Погоди, придет срок, мы с рабочим классом разделаемся.

А ехавший с ними другой мужик прибавил озлобленно:

– Скоро крестьянство будет убито, совсем станет мертвое. А только помрем-то мы – вторыми! Раньше они все подохнут. Узнают, на ком Рассея стоит!

Лелька стала осторожно возражать. Они сразу замолчали.

* * *

В помещении одинцовской школы заседала приехавшая вчера комиссия по чистке аппарата. Ребята из бригады пошли для развлечения послушать. Чистили местного учителя Богоявленского. Маленький человечек с маленьким красным носиком, с испуганными глазами и испуганной бородачкой.

Чистка проходила для него счастливо. Крестьяне говорили благодушно:

– Человек хороший, чего там!

– Обиды никто от него не видал. Жаловаться не можем.

– Смирный человек, аккуратный.

Ведерников, улыбаясь, шепнул на ухо Лельке:

– Вот финтиклейка-то! Кого он сможет пропагандировать в колхоз? Хорош помощник советской власти!

Лелька усмехнулась. Председатель спросил:

– Не будет ли у кого еще вопросов?

Встала Лелька.

– Позвольте мне! Скажите, гражданин. В этой деревне, в которой мы с вами живем, и в соседних деревнях, – везде кое-кого из крестьян раскулачили. Как вы смотрите, – правильно поступает власть, когда их раскулачивает, или неправильно?

Учитель растерянно забегал глазами по портретам вождей и красным плакатам.

– Как сказать. Если власть их раскулачивает, значит, знает за что.

– Я вас прошу ответить совершенно прямо: как вы оцениваете действия власти, – правильно ли она поступает, когда раскулачивает богатеев?

– Конечно, постольку-поскольку партией выдвинут лозунг о ликвидации кулачества как класса... Постольку-поскольку кулачество противится коллективизации...

– Вы это ваше «постольку-поскольку» бросьте. Прошу вас, гражданин, не петлять. Одно слово: следовало, по-вашему, раскулачить их? Да или нет?

Мужики тяжело глядели на учителя и ждали. Он был бледен. Старательно высморкал в скомканный платок красненький свой носик и ответил, запинаясь:

– Ну, ясно: следовало.

Мужики всколыхнулись. Говором и криком закипело собрание.

– Ишь, какой ныне стал! Правильно, – говоришь? Следовало? А забыл ты, кутья пшеничная, как отец твой долгогривый из нас кровь сосал? Гражданин председатель, примай заявление: его отец был дьякон! У него корова есть да свинья, его самого раскулачить надо! Мальчишка у него летось помер, так панихиду по нем служил в церкви!

И пошли выкладывать. Секретарь старательно записывал, что рассказывали мужики. Учитель сидел понурившись и молчал.

Ребята, смеясь выходили из школы. Ведерников хлопнул Лельку по плечу.
- Молодчина Лелька! Одним, понимаешь, вопросом показала его белую шкуру. Ну и ло-овко!

* * *

Заехал инструктор окружкома^[21], носатый парень с золотистым чубом, в больших очках. Знакомился с работой местного и приезжего комсомола, одобрил энергию. Одного только не одобрил: что в местной ячейке не хватает учетных карточек и комсомольских билетов. Потом нахмурился и вынул записную книжку.

- В окружке, товарищи, получена информация, что какая-то комсомолка приезжая проявляет явный правооппортунистический уклон. Ведет агитацию против раскулачивания, пишет крестьянам жалобы... - Полистал книжку. - Ратникова фамилия.

- Что-о?!

Ведерников расхохотался. Лелька вскочила.

- Это я - Ратникова!

Инструктор сурово сверкнул на нее очками.

- Ты?

Ребята дружно смеялись, и дружно все встали за Лельку, - и приезжие, и местные. Рассказывали о ее энергии и непримиримости, об умении организовать молодежь и зажечь ее энтузиазмом. Обида Лельки потонула в радости слышать такой хороший и единодушный товарищеский отзыв.

Инструктор почесал горстью в золотой своей копне.

- А как будто жаловались партийцы и комсомольцы... Ну, видно, ошибочка. Вот и ладно!

* * *

Весело и дружно работала ватага ребят. Сошлись они друг с другом. Приезжие были поразвитее и много грамотнее деревенских, занимались с ними, читали. Лелька была руководом и общею любимицей. От счастливой любви и от глубокого внутреннего удовлетворения она похорошела неузнаваемо.

Только Юрка держался в стороне. Совершенно невозможно было понять, что с ним делается. Работал он вяло, был мрачен. Давно погасла сверкающая его улыбка. Иногда напивался пьян, и тогда бузил, вызывающе поглядывал на Лельку, что-то бормотал, чего нельзя было разобрать. Близкие их отношения давно уже, конечно, прекратились. Он становился Лельке тягостен, и никакой даже не было охоты добираться, отчего он такой.

Ехал как-то Юрка на розвальнях из соседней деревни. Засвинцовели на небе тучи, закрутился снег с ветром. Юрке предоставить бы лошади самой найти дорогу домой, но он, - городской человек, - стал править сквозь вьюгу, сбился на цельный снег и начал плутать.

Уже в сумерках наткнулся на жердяную изгородь, за нею темным стогом высилась крестьянская рига. Разобрав жерди, подъехал к избе с огоньком в окнах, стал стучаться, попросил приюта.

- Какая деревня?

- Полканово.

- До Одинцовки далеко?

- Эва! Осьмнадцать верст.

- Во куда заехал! Ну, товарищ, приюти. Сбился с дороги, закоченел.

- Зайди, зайди, чего ж там!

Нестарый мужик с бритым лицом ввел Юрку в избу. Горница была полна народа. Сразу стало Юрке уютно и все близко: в красном углу, вместо икон, висели портреты Маркса, Ленина и Фрунзе. За столом, среди мужиков и баб, сидела чернобровая дивчина в кожанке, с двумя толстыми русыми косами, с обликом своего, родного душе человека.

Хозяин сказал:

- Садись, парень. Пообожди маленько, сейчас кончим заседание.

Горячо говорили, размахивая руками. Об учете инвентаря и тяговой силы, о том, как добыть формалину для протравливания семян. Дивчина писала и делала арифметические подсчеты.

Юрка шепотом спросил соседа:

- Что это у вас за собрание?

- Колхозники. Обсуждаем план посевных работ.

Юрка с изумлением глядел: нет мрачных лиц, взглядов исподлобья. Глаза светлые, спорят все с живостью и с интересом, как о своем деле. Необычно это было для Юрки.

Мужики расходились. Хозяин подошел к Юрке, стал расспрашивать - кто, откуда. Подошла и дивчина в кожанке.

Хозяйка позвала ужинать. Пригласили и Юрку. После ужина пили чай. Юрка спросил девушку:

- А ты тоже тут на колхозной кампании?

- Ага!

- Как у вас дело идет?

- Да жаловаться не станем. Еще в прошлом году объединились в колхоз восемнадцать дворов, только всего, а в этом, понимаешь, еще пятнадцать уже дворов присоединилось! Увидали, насколько ладнее идет дело в колхозе.

Она ударила по плечу хозяина.

- Много он вот помогает. Он да еще двое. Горят на работе. Смотри, скоро все село втянут в колхоз.

Хозяину было приятно. Он конфузливо поднял брови и потер рукой губы. И сказал:

- Вот только с грамотой очень нам трудно, - с учетом этим самым, с бухгалтерией всякой. Кабы не эта наша товарищ, - хоть свертывай все дело. Сами ничего не понимаем, счетовода нанять, - где денег возьмешь?

- Привыкнете понемножку. Дело немудрое. - Девушка засунула руки в карманы кожанки и широким мужским шагом зашагала по горнице. - Ничего, налаживается дело. Пойдет определенно. Еще бы лучше пошло, если бы кой-какие товарищи не мешали. Работает тут верст за восемь один из Москвы, Головастов.

- Головастов? Оська? Это наш, с завода нашего «Красный витязь», - сказал Юрка.

- Вот негодяй! Слышал ты, как он коммуны провел в Сосновке? Нагнал своих ребят из других деревень - приезжих и местных - и их голосами провел в Сосновке коммуны. А из сосновских никто за коммуны не голосовал. И вот вам пожалуйста - коммуна! Можешь представить, какая прочная будет коммуна?

Юрка покраснел. Он посовестился сказать, что и сам участвовал в этом голосовании.

- Форменный уголовный тип. Мы до него доберемся! Посмел там возражать против коммуны один, Евстрат Метелкин такой. Так его Головастов за это раскулачил, все отобрал в коммуны, самого арестовал и отправил в город. А он, понимаешь, несомненный середняк, два года пробыл на красном фронте, боевой товарищ вот этого нашего хозяина, - вместе брали в Крыму Чонгарский мост. Ранен в ногу. В деревне все время вел общественную работу, был членом правления кооператива, участвовал в организации мелиоративного товарищества, обучал ратников и допризывников, - ну, словом, ценнейший общественный работник. И ко всему: был один из зачинателей колхоза, первый в него пошел. А как начал Головастов загигать коммуны, - встал на дыбы. Тот его и арестовал. Рассказал мне все это Иван Петрович, - вот этот хозяин мой. Мы - телеграмму областному прокурору. Вчера Метелкин приехал назад, и приказ по телеграфу немедленно возвратить все имущество.

Юрка жадно слушал, редко дыша, даже рот раскрыл. А дивчина рассказывала.

- Весело работать. Только очень трудно. Самое трудное, что приходится бороться на два фронта: с инертностью крестьянства и с головотяпством товарищей, а то и подлостью их. Есть тут еще местный один «активист», Бутыркин. В молочной кооперации растратил пятнадцать тысяч, судился, но выкрутился; заведывал в городе Домом крестьянина, тоже уволен за растрату. Теперь всячески старается подсушить репутацию свою: устраивает с Головастовым коммуны, проводит сплошную коллективизацию, мужикам грозит: «Откажетесь - из города придет артиллерийский дивизион и снесет снарядами всю деревню». Мы тут в его деревне неподалеку организовали ясли, - сегодня как раз открытие, - Бутыркин под них отдал бывший свой дом. Большой дом, вместительный, самый кулацкий. Два года назад Бутыркин продал его за тысячу восемьсот рублей, а теперь у нового хозяина дом этот реквизирует под тем предлогом, что тот живет по зимам в городе. Такие беззакония, - кто что хочет, то и делает... Ты, конечно, ночевать у нас останешься?

- Да хорошо бы.

- Иван Петрович, можно?

Хозяин ответил:

- Ну, ясно. Просим милости.

- Так вот что: оставайся, а мне нужно идти на открытие яслей. Мы организовали, нужно сказать приветствие.

- А можно мне с тобой?

- О! Отлично! Идем. Тут недалеко, всего две версты лесом. Метель затихла. Шли просекой через сосновый бор. Широкий дом на краю села, по четыре окна в обе стороны от крыльца. Ярко горела лампа-молния. Много народу. В президиуме - председатель сельсовета, два приезжих студента (товарищи дивчины), другие. Выделялась старая деревенская баба в полушубке, закутанная в платок: сидела прямо и неподвижно, как идол, с испуганно-окаменевшим лицом.

Говорил длинную задушевную речь худощавый брюнет с загорелым, энергичным лицом. Очень хорошо говорил: о великом пятилетнем плане, о необходимости коллективной обработки земли. Юрка знала его: это был Бутыркин. Потом говорила новая знакомая Юрки - о значении яслей, о раскрепощении женщины, тоже о коллективизации. Юрку странно волновала и речь ее, - с какими-то неуловимо знакомыми интонациями, теми, да не теми, - и весь облик девушки, - мучительно-милый, знакомый и в то же время чуждый. И вдруг мелькнуло: «Лелька!» Все поразительно напоминало Лельку. Только глаза у этой были стального цвета, и больше ощущалось определенности в лице, больше - мужественности какой-то, что ли.

Дивчина кончила, села рядом с Юркой. Стала говорить школьная работница. Юрка спросил:

- Ты, случаем, не знакома с Лелей Ратниковой?

- Как же - не знакома! Родная мне сестра.

- Да что ты?! Вправду?

- Ну, ясно.

- Ведь она в нашей бригаде, здесь же.

- Здесь?!

Нинка так это крикнула, что все обернулись. Жадно стала расспрашивать вполголоса Юрку. Спросила:

- А ты меня завтра не возьмешь с собой, чтоб повидаться с нею?

- Ну как же? Очень хорошо. Назад тебя в санях же и отвезу.

Председатель стал вызывать женщин сказать от лица матерей. Бабы пересмеивались, толкались и прятались друг за друга.

Выступил опять Бутыркин. Он говорил хорошо, знал это и любил говорить. Юрка никак не мог согласовать с его задушевым голосом и располагающим лицом то, что про него рассказала Нинка. Бутыркин говорил о головокружительных успехах коллективизации в их районе, о том, как это важно для социалистического строительства, о пользе яслей и детских приютов.

- Товарищи! И за наши ясли нам нужно ухватиться изо всех наших сил. Владелец этого дома упирается, хочет дом удержать за собой, подал на нас в суд, но мы этого дома все равно ни за что не отдадим. Лучше уж воротим те тысячу восемьсот рублей, что он заплатил за этот дом.

Прочли проект резолюции. Председатель спросил:

- Не будет ли каких добавлений к резолюции?

Нинка сказала:

- У меня есть добавление.

Вышла к столу президиума. Глаза блеснули озорно и весело.

- Товарищи! Есть, к сожалению, и среди партийцев люди, которых кашей не корми, а дай им побольше наболтать разных красивых слов. А дойдет до дела, - форменный рвач, обыватель, только и думающий о своем кармане. Тем приятнее видеть, что выступавший здесь товарищ Бутыркин не из таких. Я удивляюсь, что в резолюции ничего не упомянуто о том, что тут заявил товарищ Бутыркин. Он обещается воротить новому хозяину те тысячу восемьсот рублей, что получил от него за этот дом, только бы дом остался за яслями. Это - поступок, достойный настоящего коммуниста-большевика. Я предлагаю в резолюции выразить благодарность товарищу Бутыркину за его предложение.

В публике взрывались короткие смешки. Бутыркин растерялся, вскочил, зло блеснул глазами.

- Я не это сказал!

Нинка невинно спросила:

- А что же вы сказали?

- Я сказал, что если суд присудит дом в его пользу, то дома ему не возвращать, а лучше отдать деньги, которые он за дом заплатил.

- Откуда деньги взять?

- Из общественных, конечно. Откуда же еще?

Нинка протянула:

- Я очень извиняюсь! Я думала, вы хотели отдать те деньги, что сами с него за этот дом взяли. Я вас не так поняла. Конечно, в таком случае об вас вовсе не нужно

прибавлять в резолюции.

Женский голос из публики крикнул:

- Своих-то не хочется отдать, что за дом получил! А у другого дом даром отобрал! Ловок.

Хохот шел по собранию.

* * *

Утром Юрка с Ниной поехали в Одинцовку. Стоял морозец, солнце сверкало. За успокоившимися бело-голубыми снегами дымчато серели голые рощи, в них четко выделялись черные ели. Юрка настойчиво расспрашивал Нинку о ее работе, жадно смотрел в глаза.

- Так, говоришь, середняка никак нельзя раскулачивать? А если он в колхоз не желает идти? Значит, против социализму, значит, враг классовый! Нешто не так?

- Ясно, не так. Ленина не читал? Разрывать нам нельзя с крестьянством, надо его постепенно перевоспитать, а не нахрапом действовать.

Юрка недоверчиво поглядывал на нее.

- И вправду, - чтоб только добровольно шли?

- Ну как же иначе!

- А когда раскулачиваем, все нужно отбирать?

- Все, конечно. Весь инвентарь, весь скот и вообще излишки все.

Юрка поколебался, вдруг спросил:

- А с мальчишки пятилетнего валенки можно снять?

Нинка изумленно оглядела его.

- С ума сошел!

Юрка отвернулся и замолчал. Долго правил молча, старательно нахлестывал кобылу. Потом решительно повернулся к Нинке.

- Так не надо было валенки отбирать? Категорически?

- Категорически.

- Та-ак...

Всю остальную дорогу он глубоко молчал.

* * *

Нинка, не стучась, распахнула дверь и ворвалась к Лельке. Крепко расцеловались. Смеялись, расспрашивали, дивились, что так близко друг от друга работают и не знали. Нинка видела в комнате две кровати, видела Ведерникова, сидящего на одной из них. Но об этом не спрашивала. Кому какое дело?

Закусывали, пили чай. Лелька вдруг вспомнила.

- Погоди-ка! Тут недавно инструктор приезжал, справлялся о комсомолке Ратниковой, что ведет подрывную работу. Напоролся на меня. А это, случаем, уж не ты ли была?

У Нинки знакомым Лельке озорным огнем загорелись глаза.

- Видно, я и есть. Все время доносы шлют, что развожу контрреволюционную работу... Наверно, про меня.

Осторожно вошел в комнату Юрка, присел к столу.

Не прошло и получаса, - между Нинкой и Лелькой запрыгали такие же колючие электрические искры, как, бывало, у них обеих с матерью, при беседе с нею.

Нинка изумленно пожимала плечами.

- Какая нелепость! Чего вы этою принудительностью достигнете?

Лелька, враждебно глядя, отвечала:

- Ты не понимаешь, чего? «Бытие определяет сознание», - слышала ты когда-нибудь про это? Как ты иначе перестроишь собственническую психологию мужика? «Убедением»? Розовая водичка! Ну, будут рыпаться, бузить, - может быть, даже побунтуют. А потом свыкнутся и начнут понемножку перестраивать свою психологию. А дети их будут уже расти в новых условиях, и им даже непонятна будет прежняя психология их папенок и маменек.

- Вот какая установка! Это, Лелька, ново! Ни в каких партийных директивах я такой установки не встречала. Где это сказано?

Вмешался Ведерников и резко сказал:

- Это, товарищ, сказано в нашем пролетарском сознании. А Лелька насмешливо прибавила:

- Тебе непременно хочется «директив»? Ты разве не читаешь директив из райкома и окружкома? Все они только одно повторяют: «Гни на сплошную». А как иначе гнуть? Или, может быть, ты не признаешь компетенции окружкома? Желаете разговаривать только с Политбюро?

Расстались враждебно. Юрка повез Нину обратно.

* * *

Приехали к Нинке. Она стала звать Юрку зайти, попить чайку. Юрка привязывал лошадь к столбику крыльца. Вошел хозяин со странным лицом и взволнованно сказал Нинке:

- Тут из окружного исполкома приехал какой-то... Велел вам сейчас же, как приедете, прийти к нему в сельсовет... Э, да вон он. Не терпится. Сам опять идет.

Подошел человек в кожаной куртке, с широким, рябым лицом и шрамом на виске; на куртке алел орден Красного Знамени.

- Мне сказали, гражданка Ратникова приехала. Это вы?

Нинка побледнела от «гражданки».

- Я - Ратникова.

Приезжий оглядел Юрку и Нинкина хозяина.

- Нам нужно с вами, гражданка, поговорить наедине. Пойдемте, походим.

Юрка глядел, сидя на перилах крыльца. Приезжий расхаживал с Нинкой по снежной дороге, что-то сердито говорил и размахивал рукою. Побледневшая Нинка с вызовом ему возражала. Приезжий закинул голову, угрожающе помахал указательным пальцем перед самым носом Нинки и, не прощаясь, пошел к сельсовету. Нинка воротилась к крыльцу. Глаза ее двигались медленно, ничего вокруг не видя. Вся была полна разговором.

Вошла с Юркою в избу и с усмешкою сказала хозяину:

- Велено всю работу прекратить и завтра явиться в райком.

Юрка спросил:

- В чем дело?

- Потом как-нибудь.

Пообедали вместе. После обеда сидели под навесом двора, на снятой с колес телеге. Нинка рассказывала: от облисполкома была получена директива: тем, кто вздумает выходить из колхоза, возвращать только одну треть имущества, а все остальное удерживать в пользу колхоза. Евстрат Метелкин привел к ней крестьян, Нинка им объяснила, что такого закона нет. Они ее попросили им это написать.

- Я, конечно, написала. Почему бы нет?.. Кричал, что это контрреволюция, что я вообще веду подрывную работу в крестьянстве, что еще сегодня утром об этом получено заявление в ГПУ от товарища Бутыркина. Грозил отправить меня отсюда по этапу. Я ему: «Вы говорите со мною, как с классовым врагом!» - «Вы, говорит, и есть классовый враг. Только помните, мы и не с такими, как вы, справлялись».

Юрка раздумчиво сказал:

- А он с орденом Красного Знамени. Значит, человек категорически приверженный.

Нинка поглядела на него, помолчала.

- Передал приказ райкома немедленно прекратить работу и завтра явиться в райком... Может, и правда, по этапу отправят, - с усмешкою добавила она.

- А как в город доедешь?

- Эка! Двадцать верст! Пешком дойду. Багаж небольшой, - один рюкзак.

Юрка с порывом сказал:

- Я тебя отвезу. Переночую у вас, а завтра утречком поедем.

Нинка с лаской пожала концы его пальцев.

- Ну, спасибо!

Пошли гулять в бор. Из-за сини далеких снегов красным кругом поднимался огромный месяц. Юрка, напряженно наморщив брови, сказал:

- Все-таки, видно, ты неправа. Не такую надо гнуть линию. Только к дезорганизации ведешь.

- Не зна-аю! - с вызовом возразила Нинка, а в глазах были тоска и страдание. - А одно я хорошо знаю: партиец ты, комсомолец, - а должен шевелить собственными мозгами и справляться с собственным душевным голосом. Только тогда окажешься и хорошим партийцем. Иначе ты - разменная монета, собственной цены никакой в тебе нет. Только всего и свету, что в окошке? Так всегда черногряжский райком и должен быть правым? Борьаться нужно, Юрка, отстаивать свое, не сдаваться по первому окрику.

Юрка страдающе наморщился и согнутыми в когти пальцами стал скрести в затылке.

- Черт ее... Как это тут... Не пойму никак.

* * *

Утром приехали в Черногряжск. Вместе с Юркой Нинка пошла в райком. В коридоре столкнулись с рябым, который вчера был у Нинки. Нинка нахмурилась и хотела пройти мимо, но он, широко улыбаясь, протянул большую свою ладонь и сказал ласково:

- Здравствуй, товарищ Ратникова. Приехала-таки? Брось, - не стоило! Ворочайся назад. Нам такие, как ты, нужны.

- Что это значит?

Он поднял брови и виновато-добродушно улыбнулся.

- Ничего. Маленькую ошибочку дали. С кем не бывает!

В бюро ячейки - то же самое. Нинка ждала грозных криков, обвинений. А все были ласковы и смущены, говорили, что вызов ее - только недоразумение, извинялись и просили обязательно ехать назад.

В недоуменной радости Нинка вышла. К ней навстречу бросился Юрка с газетным листом в руках.

- Нинка, читай! Что написано-то!!

Нинка подошла к окну, развернула газету. На первой странице была большая статья. Заглавие:

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ УСПЕХОВ

Подпись: И. Сталин.

Писано было в статье вот что:

Успехи иногда прививают дух самомнения и зазнайства... «Мы все можем!» «Нам всё нипочем!» Они, эти успехи, нередко пьянят людей... Наша политика опирается на добровольность колхозного движения... Нельзя насаждать колхозы силой. Это было бы глупо и реакционно. А что происходит у нас на деле? Можно ли сказать, что принцип добровольности не нарушается в ряде районов? Нет, нельзя этого сказать, к сожалению... Кому нужны эти искривления, это чиновничье декретирование колхозного движения, эти недостойные угрозы по отношению к крестьянам? Никому, кроме наших врагов! К чему они могут привести, эти искривления? К усилению наших врагов и к развенчанию идей колхозного движения.

Нинка, давясь радостным смехом, смазала Юрку газетным листом по лицу.

- Ну, что, товарищ? Не вредит изредка и собственными мозгами поворочать?

Большинство вокруг было в смущении и испуге. Немногие были довольны и победительно посмеивались. Шла по коридору пучеглазая женщина с очень большим бюстом, с листом «Правды» в руках.

Юрка кинулся ей навстречу.

- Ногаева! Ты разве тоже здесь?

- А как же. Со следующей за вами партией выехала.

И с гордостью она рассказывала своим спокойно-уверенным, как будто не знающим сомнений голосом:

- Мы на эту левую провокацию не поддались с самого начала. Стали середняков раскулачивать, - мы сейчас же: «Стой!» Сельсовет нас слушать не хотел, но мы заставили. А про Оську Головастова написали в наш заводский партком, что он вполне дискредитует звание пролетария. И что ж бы вы думали! Заказным письмом послала, - и не дошло! С оказией потом второе послала. На почте тут письма перехватывали!

Юрка слушал с неподвижным лицом.

* * *

Вышли с Нинкой на улицу. По деревянным мосткам шагал подвыпивший мужик с газетой в руках. Потряс ею перед носом Нинки и Юрки, засмеялся.

- Против вашего брата газета писана!.. Ой, вот так газетинка! Три рубля заплатил на базаре за нее, и не жалко. Стоит того!

Все экземпляры газет были расхвачены крестьянами моментально. Приезжали из деревень все новые мужики, специально, чтоб купить газету. Перепродавали номер за

пять, за восемь рублей.

Юрка и Нина ехали назад. В деревнях звучали песни и смех. Нинка вдруг рассмеялась и радостно потерла руки:

- Вот теперь поработаем!

Навстречу трусила лошаденка, в розвальнях сидели Оська Головастов и Бутыркин, оба с бледными, растерянными лицами. Тут же милиционер. Юрка соскочил с саней, подбежал, хотел поговорить, но милиционер не позволил:

- А-рес-то-ва-ны...

Юрка завез Нинку в Полканово и поехал к себе в Одинцовку. Там, в барском доме, тоже было общее смущение. Ведерников чесал в затылке, губы его закручивались в сконфуженную улыбку.

- Маленько перегнули, это что говорить. Засыпались!

Лелька неподвижно глядела в окно.

* * *

Вечером под сильными ударами кулака затрещала Лелькина дверь. Лелька была одна. Вошел Юрка. Был очень бледен, волосы падали на блестящие глаза. Медленно сел, кулаками уперся в расставленные колени, в упор глядел на Лельку. И спросил с вызовом:

- Ну? Что?

Лелька удивленно приглядывалась к нему.

- Что это ты... какой?

- Ну, что, говорю? Правильно мы тут с вами поступали или неправильно?

- Неправильно, Юрка.

- Не-пра-виль-но... Ха-ха! Непра-авильно? - Он вцепился взглядом в глаза Лельки. - Сволочь ты этакая! Чего ж ты меня в эту грязь втравила?

Лелька теперь только сообразила, что Юрка глубоко пьян. В комнате стоял тяжелый запах самогона. Она отвернулась и, наморщив брови, стала барабанить пальцами по столу. Вдруг услышала странный хруст, - как будто быстро ломались одна за другою ледяные сосульки. Лелька нервно вздрогнула. Юрка, охватив руками спинку стула, смотрел в темный угол и скрипел зубами.

- Ох, тяжело! - хрипло заговорил он. - Понимаешь, бежит по талому снегу... А я, как проклятый, гляжу в сторону и лошаденку подхлестываю. А он, понимаешь, все бежит, не отстаёт. Босой.

Юрка судорожно сжал спинку стула и еще сильнее заскрипел зубами. Лелька подошла к нему. Уверенная в своем обаянии и всегдашнем влиянии, ласково положила ему руку на плечо.

- Юрка, слушай...

Он сбросил ее руку с плеча и вскочил.

- Отойди... гадюка!.. У-ух!! - Юрка отнес назад руку со сжатым кулаком. - Так бы и залепил тебе в ухо, чтоб торчмя головой полетела на кровать... Лелька!

Падающим движением подался к ней, схватил за запястья.

- Лелька! - Задыхался и со страданием смотрел на нее. - Выходит, можно было вас и не слушать... Можно было... п-плюнуть вам в бандитские ваши рожи! Ведь я с тех самых дней весь спокой потерял. Целиком и полностью! Вполне категорически! Каждую ночь его вижу... Бежит босой по снегу: «Дяденька! Отдай валенки!..» А ты, гадюка, смотрела, и ничего у тебя в душе не тронулось?

Он так крепко сжимал Лельке руки, что они совсем занемели.

- Не тронулось, а? А ведь ты - женщина. У тебя свои дети могут быть... Вот Нина, сестра твоя. Даже против героя с Красным Знаменем, и то пошла. Есть, значит, в душе... добросовестность... А у тебя что?

- Юрка,пусти руки. Мы с тобою обо всем этом поговорим, когда ты проспишься.

- Не спать уж мне теперь. Боюсь я спать... Все мальчишка этот... Следом бежит. У-у, черт!!

Он отбросил руки Лельки и, шатаясь, направился к двери. Вошел Ведерников. Юрка насмешливо оглядел его.

- А-а... «Пролетарское сознание».

Остановился на пороге, гаркнул:

- Здесь погребен арестант Иван Гусев, трех лет!

И вышел...

До поздней ночи он одиноко шатался по деревне, рычал, буянил, скрипел зубами и бил себя кулаком в грудь. Потом исчез...

Через день на ветле у околицы нашли его труп висящим на веревке.

1928-1931

notes

СНОСКИ

1

Речь идет о дневнике, который вели двоюродные сестры Петровы (в романе они родные сестры Ратниковы) и который одна из сестер принесла Вересаеву.

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939) – русский поэт, критик. Печатается с 1905 г. В 1922 г. эмигрировал из России.

Кузнецов Николай Адрианович (1904-1924) - пролетарский поэт, рабочий завода «Мотор». Член литературных групп «Рабочая весна» и «Октябрь». В 1924 г. бросил завод; выбыл из комсомола и покончил самоубийством.

Столыпин Петр Аркадьевич (1862-1911) - с 1906 г. министр внутренних дел, затем Председатель Совета министров. Убит в Киеве Багровым.

5

Дорогой товарищ (нем.).

Завод «Красный богатырь» в Москве в Сокольниках. Близ завода в с. Богородском Вересаев поселился на полтора года, работая над романом «Сестры».

Скворцов (Степанов) Иван Иванович (1870–1928) – большевик, литератор, историк, экономист. Участвовал в революционном движении с 1898 г., перевел и редактировал три тома «Капитала» К. Маркса, с 1925 г. редактор «Известий», с 1926 г. директор института В.И. Ленина при ЦК ВКП(б).

Теперь Киевский вокзал.

9

Теперь Бородинский мост.

Театр им. Вс. Э. Мейерхоляда размещался на месте теперешнего Концертного зала им. П. И. Чайковского.

«Азбука коммунизма», популярное объяснение программы Российской коммунистической партии, авт. Н. И. Бухарин в соавторстве с Е. А. Преображенским. М.: Госиздат, 1919.

Теперь Ленинский район г. Москвы.

Можно без труда узнать описываемый здесь завод – и по слегка лишь измененному названию его, и по местонахождению, и по специальности. С тем большею решительностью автор должен заявить, что роман его ни в какой мере не содержит в себе истории именно данного завода, и действующие лица списаны не с живых лиц этого завода. Взята только обстановка завода и общие условия работы на нем. Совершенно бесплодным делом займутся те, которые будут стараться докопаться, насколько верно с действительностью изложены у автора описываемые события, и кто именно «выведен» у него под тем или другим именем. (Примеч. В. Вересаева)

РУНИ - Районное управление недвижимого имущества.

Распутин Григорий Ефимович (1872-1916) – фаворит царя Николая II и его жены Александры Федоровны. В качестве «провидца» и «исцелителя» приобрел неограниченное влияние при дворе. Убит в результате заговора в ночь с 17 на 18 декабря 1916 г. князем Ф. Юсуповым при участии великого князя Дмитрия Павловича и монархиста Пуришкевича.

Московский городской совет профессиональных союзов.

Теперь ДОСААФ.

Рабоче-крестьянская инспекция.

Город Пожарск встречается и в более ранних произведениях Вересаева (например, в повести «Без дороги» - 1815 г.). Под этим названием писатель выводит свой родной город Тулу.

Районный исполнительный комитет.

Окружной комитет комсомола.